

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 24

1986



*Нил ПАВЛОВ*

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**ВЕРНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 24

---

Нил ПАВЛОВ

# ВЕРНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986

## *Нил ПАВЛОВ*

*Нил Павлович Павлов (Копаневич) родился 5 мая 1923 года в Москве.*

*На войну ушел со школьного порога.*

*Окончив в конце апреля 1942 года Ленинградское Краснознаменное училище военных сообщений, прибыл в Действующую армию, в которой и находился до дня Победы.*

*Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».*

*После учебы в институте стал профессиональным журналистом.*

*Печататься начал с 1950 года. В центральной прессе был опубликован ряд его очерков и рассказов. На Центральном телевидении по его сценариям снимались документальные фильмы и телепередачи.*

Я алкоголик. Хронический алкоголик, часть жизни которого прошла в пьяном угаре. Это не рассказ и не повесть, а записи, которые я вел в больнице в дни лечения. Записи эти я делал давно — лет двадцать тому назад. И сейчас, предлагая их редакции, не переделывал, не правил и не редактировал. Они остались в таком виде, в каком пролежали у меня в столе все эти двадцать лет. Если бы я попробовал написать о своем прошлом сейчас, я бы сделал это совсем по-другому.

От автора.

## ВЕРНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ

...Сквозь густую решетку — сад. Окно, в которое я смотрю, не забрано «намордником». До этого еще не дошло. Сад... Так я назвал голый скверик, который вижу внизу. Несколько деревьев и ободраных кустиков в лучах заходящего солнца. Отсюда все это мне кажется садом.

Я слежу за тенью, отбрасываемой большим тополем в самом конце скверика. Она сломалась под прямым углом. Меньшая часть ее на земле. А большая заломилась на стену, которая многометровым кирпичным квадратом отгородила меня от воли.

Сначала решетка. Потом стена. Между решеткой и стеной охрана. Я нахожусь в алкогольной больнице особого типа. Это первая решетка в моей жизни, и, наверное, поэтому особенно тянет к себе все, что по ту сторону прутьев.

Я думаю о далеком прошлом, и так горько становится мне... Я клянусь себе: если вернусь в настоящую жизнь, постараюсь возратить все. В первый день, как отсюда вырвусь, уйду в лес. С этого я хочу начать новую жизнь...

— Ну, так с чего же мы начнем? — прервал мои мысли сидящий напротив профессор. — Я внимательно ознакомился с историей вашей болезни. Путь тяжелый, похожий на многие, я сказал бы, типичный.

— А если типичный, товарищ профессор, то что же рассказывать?

— Нет. Не так просто мы с вами построим разговор. Типичный — это я сказал о ходе болезни. Но каждый идет по ней своей собственной дорогой. И приходит к своему собственному финалу. А от того, как он шел, зависит, куда он придет. Так что, уж будьте любезны, начнем сначала. Я вас не тороплю, сосредоточьтесь.

Он чудак, этот профессор, Александр Шалвович. Он не торопит. И, как видно, не торопится сам. Где его основная работа, я не знаю. Здесь он числится консультантом. Но приезжает сюда не консультировать, а работать. Скрупулезно, настойчиво, упорно.

В отделении он появляется всегда после ужина, когда расходятся уже все врачи и остается один несчастливчик — дежурный. С ним в вечерние часы профессор почти не встречается. Он уединяется в своем кабинете, где на тумбочке к его приходу всегда пыхтит паром огромный и некрасивый эмалированный чайник.

Чудак-профессор пьет сразу из двух стаканов. В одном чистый кипяток, в другом очень крепкий чай с лимоном. И не поймешь, запивает ли он чай кипятком или закусывает кипятком чаем.

Я не знаю, с чего начать рассказ о жизни, прошедшей мимо. Может быть, с дней радости? Ведь у меня, как у каждого, были и свои минуты счастья, когда казалось, что жизнь выходит на прямую и светлую дорогу...

\* \* \*

...Тогда тоже была осень. Я бесцельно брел по улицам, радуясь разноликой толпе, отражению солнечных зайчиков в политом дождем асфальте.

Я любил свой город и шел по нему, любя его и любясь им. Рожденному и выросшему здесь, в старой Москве, мне приятно было остановиться на перекрестке улицы Горького и Садового кольца, в самом водовороте.

Это был темп. Это была динамика. Это было стремительное движение. И я был в центре водоворота. Не чужим наблюдателем, а участником. Это все было мое. И это был я.

На душе у меня было легко и радостно. Мы свалили предпоследний курсовой. Так сложилось в нашем институте в том году, что экзамены мы сдавали после длительной летней практики. Оставался еще один курсовой. Потом государственный и защита вузовского диплома.

В тот день мы всей ватагой зашли в шашлычную у Никитских ворот отпраздновать этот предпоследний. С недавних пор это стало традицией — мы частенько пропускали по рюмочке в студенческой компании. Правда, карманы у нас, как у всех студентов, были неглубокие. Тем легче их вывернуть. Все мы испытывали голод: ведь с утра ни у кого крошки во рту не было, — но думали мы не о еде. Взяли по шашлыку на двоих и по триста граммов на одного.

Все это было, как обычно. Сначала теплый удар в области желудка, потом приятная теплота поднимается к голове. Знакомые лица друзей стали роднее. Каждый хотел сказать другому что-то доброе и, как ему казалось, значительное. А слушающий смотрел на говорящего влюбленными глазами и, перебивая, пытался ответить тоже чем-то приятным.

— А я хочу выпить за Николая, ребята! — перекричал всех Виктор. — Я хочу выпить за его будущее. Он талантливее нас. За старосту курса!

Я насторожился, так как этого парня недолюбливал. И не любил за то, что мне никак не удавалось заглянуть в его глаза. Лоснящийся блеск их отталкивал взгляд, как зеркальные очки. И только иногда зрачки-щелки приоткрывались, как ставни, и там, в глубине, плавало что-то темное, скользкое. Я-то понял его. Тост за меня был хитростью. Виктор просто знал, что у меня есть деньги. Он хитро и осторожно подбирался к ним. Так было уже не раз.

Но сейчас я берег деньги пуще зеницы ока. Собранные по рублю работой на разгрузке вагонов, на практике, они предназначались на подарок матери. Я знал, что мать готовит мне большой подарок к дню окончания института, и я хотел ответить ей тем же.

Мне было легче отдать руку на отсечение, чем обидеть мать. Она у меня была уже пожилой. Очень доброй и ласковой. И очень неудачливой в жизни.

Я иногда, глядя на нее, задумывался: почему жизнь так не поровну делит свою доброту среди людей? А фраза «Каждый — сам себе кузнец своего счастья» в такие минуты у меня вызывала недобрую усмешку.

Уж мать ли моя не ковала это счастье? Каждым днем жизни своей, каждым ударом сердца своего ковала. И требовала она его не для себя. Ее счастье было в счастье близких ей людей — моим, счастьем старшего сына Петра, здоровьем отца нашего. Но не выковала она ничего.

Я помню уходящего на фронт отца, всегда пропахшего запахом жженого железа. Был он мастером золотые руки, универсалом — автогенщиком — резчиком — сварщиком. Когда я приходил с матерью к нему на стройку, он сидел на какой-то металлической жердочке где-то под облаками и в виде приветствия бросал нам из поднебесья на землю снопы горящих звезд. Я подставлял ладони под

падающий дождь разноцветного конфетти, но в них почему-то попадали не красивые звездочки, а черные, размазывающиеся грязью, малосенькие кусочки царапающего руки металла.

— Отчего это так? — спрашивал я отца, когда он приходил домой.

— Падающие с неба звезды обманчивы. Ты не жди их на земле, ибо не та звезда, которая сама тебе в руки с неба свалится. А та, которую сам с поднебесья снимешь, — улыбался отец. — Правда, Любушка? — подмигивал он матери.

Потом он начинал объяснять мне технологию сварки и резания. Рассказы его были похожи на сказку, где главным действующим героем был Огонь. А потом...

Постриженный наголо и от этого непохожий на себя, отец сидел, опустив голову на ладони, и слушал очередную передачу с фронта. Растерянный и какой-то смятый.

После я много читал о том, как уходили отцы на фронт. В книгах они были суровые и сдержанные, спокойные и уверенные. Они говорили родным и близким бодрые слова, успокаивали и обещали вернуться со скорой победой.

Мой отец, когда уходил, плакал. До этого я вообще не видел, как плачут мужчины. Отец смотрел в одну точку, а по щекам ползли слезы. Редкие и, как мне казалось, крупные. И очень-очень медленные. Он молчал, а слезы текли. И это было страшно.

Потом мы с матерью провожали его на вокзал. Петра не было. В то время ему уже исполнилось восемнадцать. Он был под Москвой на окопах.

...Когда тронулся поезд, отец, свесившись из вагона, крикнул громко и разборчиво:

— Береги детей, Любушка, родная!..

Вот и все. Через четыре месяца в доме вместо отца появилась бумажка. В первые месяцы войны писали просто «убит»...

А еще через год в дом пришла вторая бумажка — вместо Петра. Он «погиб в боях»...

Война собирала свою жертву. Головы женщин покрывались темными платками. Страна напрягала все силы в этом жестоком единоборстве с врагом. Напрягала все силы и мать. Чтобы спасти меня, чтобы не дать погибнуть в эту жуткую пору, пору вечно голодных детских глаз. Теперь я у нее был только один. И она у меня была только одна.

Иногда мне казалось, что мы с ней два сообщающихся сосуда. Из одного в другой постепенно и медленно перекачивается жизнь. Я рос, здоровел, набирался сил. Мать худела, становилась даже меньше ростом, теряла здоровье. Чем мог я помогал ей, а окончив восемь классов, твердо сказал, что пойду на завод.



Шел в ту пору тысяча девятьсот пятидесятый. Залечивая раны, страна вставала на ноги, и рабочие руки требовались повсюду.

Мать плакала. Мать просила. Мать умоляла. Она настояла на своем. Она хотела, чтобы я окончил десятилетку, чтобы я окончил институт. Она была из тех женщин-матерей, которые видят свой главный долг в том, чтобы вывести сына на главную дорогу жизни. И разве так трудно понять ее? Она хотела видеть во мне человека, получившего хорошее образование, крепко ставшего на ноги, человека, который, получив все, покоил бы ее старость.

Она тянула до пенсии. Мы шли к нашему финишу одновременно. Я оканчивал институт. Мать, напрягая силы, работала последний год. Конечно, ей хотелось получать пенсию побольше — с оклада маленького бухгалтера она невелика, и мать в последний год часто работала сверхурочно по ночам.

В одну из таких ночей, когда в нашей комнате еще горел свет, я первый раз пришел домой пьяный. Нет, я не хочу сказать, что никогда раньше не выпивал. Бывало. Но нетрезвым мать меня не видела.

А тогда, переступив порог и опершись о притолоку, я прямо столкнулся со взглядом матери. Она сидела за столом, согнувшись над арифмометром, и смотрела прямо на меня. Смотрела и молчала.

Мне стало мучительно стыдно. Хмель медленно сползал с меня под взглядом матери, как утренний липкий туман сползает с земли под первыми лучами солнца.

На мне был мой парадный костюм, перешитый из отцовского и перекрашенный матерью из серого в темно-синий. В компании кто-то плеснул мне водкой на колено, и на брюках в этом месте чуть сползла краска, показав подлинный цвет материала. Взгляд матери остановился на этом месте.

— Я ведь их красила, Коля. Старалась... Ну, ладно, ложись. Я поправлю все...

Утром я поклялся, что этого больше не будет.

Это была моя первая клятва матери. И первый обман...

...Я стяхнул с колена пролитую Виктором водку и снова взглянул ему в лицо.

Есть ли у нас свой киноаппарат в голове — такое хитрое приспособление, какая-то особая клеточка в мозгу, которая в одно мгновение, как на экране, покажет тебе прошлую жизнь крупным планом, во все полотно, воспроизведет самые острые и памятные моменты и так же неожиданно, как и включится, померкнет?

Помимо тебя включится. Помимо тебя померкнет. А выключатель находится где-то по ту сторону твоего мышления. И не ты хозяин этого включения.

Так было и со мной, когда я смотрел в зрачки-щелочки Виктора. Нет, не там я видел все, о чем вспоминал в тот момент. Там был лишь пульт управления, который на мгновение зажег экран моего прошлого.

— Нет, я не могу принять твой тост, Виктор. Лучше поднимем его за всех нас, за наше будущее. Светлое и доброе. Давайте чокнемся и пообещаем друг другу встретиться здесь, в Москве, ровно через десять лет после окончания. Тогда я с удовольствием выпью твой тост, Виктор, если ты его произнесешь еще раз.

Я не остался с друзьями продолжать веселье. Пусть они были удивлены моим ранним уходом. А я шел по улицам в хорошем настроении. И оттого, что удержался и выпил на этот раз немного. И оттого, что кончается учеба в институте. И оттого, что деньги, собранные на подарок матери, целы...

— Нет ли у вас лишнего билетика?

Прямо передо мной стояла стройная девчушка. Здесь, на перекрестке улицы Горького и Садового кольца, у зала Чайковского, кипела толпа. Волны ее сшибались и расходились. Люди были все время в движении. Покачивали головами, разводили руками, виновато улыбались. И вдруг устремлялись к какому-то месту, где счастличик уже успел схватить оставшийся у кого-то «лишний билетик».

Потом водоворот начинался сначала.

Поверх уложенной короной косы — девушка с надеждой ожидала моего ответа — я увидел броские слова: «Сегодня Второй концерт Рахманинова. Исполнитель...»

— Пока нет. Но, возможно, будет, — неожиданно для себя ответил я.

— Тогда вы мне его уступите?

Решение пришло мгновенно: попытаюсь стать счастличиком, который выудит в этом половодье злополучный «лишний билетик». Если один — подарю синеглазой незнакомке. Если два — пойду вместе с ней...

...Потом мы сидели с ней рядом. Все было для меня впервые: и зал Чайковского, и счастье, которым была пронизана каждая клеточка моего существа.

Странная это вещь — счастье, приносимое музыкой. Вроде оно берется из ничего. А впечатление такое, будто тебя со всех сторон окружает разноцветная радуга. Оттенки ее разные, а главная тональность одна — радость.

Она светится в глубине синих глаз Анюты. Она обрушивается с высоты сводов концертного зала громом морского прибоя, еле доносится шепотом лесной долины, льется колокольчиком бегущего ручейка.

Почему я не знал этого раньше? Потому что не было рядом Анюты. Счастье прочно вошло в мою жизнь с того дня. И несчастье тоже...

\* \* \*

...Профессор не перебивал меня. Казалось, он даже думает о чем-то своем, то разливая свой чай по разным стаканам, то рисуя какие-то непонятные иероглифы в лежащем на столе блокноте.

Только временами он поднимал глаза, пытаясь встретиться со мной взглядом. Будто он что-то высматривал там, в глубине моих глаз, читал не высказанную до конца мысль, подсказывал: «Ну, ну шире, подробнее!»

Когда же я сказал, что в ту пору счастье прочно вошло в мою жизнь, профессор впервые подал реплику:

— Есть такая пословица, вам известная: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». А у вас вроде наоборот: «Не было бы несчастья, да счастье помогло». Не обращайтесь на меня внимания. Похожу. Люблю слушать, расхаживая. Простите мне эту слабость.

Александр Шалвович отошел в угол кабинета, отдернул штору. Окно выходило на улицу, и в проеме, как на экране, вспыхнул зрачками огней жилой дом, стоящий напротив нашего корпуса.

Мы часто смотрели на этот дом, где при раздвинутых шторах была видна чужая жизнь. Лучше б ее вообще не было видно. Многие из нас не могли в такие минуты сидеть у окна. Очень душно становилось на душе.

Ведь это было и у тебя когда-то. Кто-то ждал твоего возвращения с работы. Кто-то накрывал на стол. Чьи-то руки готовили для тебя. И чье-то сердце билось с твоим в унисон.

Было когда-то все это и у меня.

В тот год, когда мы с Анютой поженились, за спиной нашего деревянного домишки заканчивали строительство огромного светлого многоэтажного здания. Мы знали, что здесь наша будущая квартира. Тогда почему-то жителей центра не выселяли при сносе их дома на дальние окраины и не заселяли новостройки в центре теми, чьи дома подвергались сносу на краю города, учитывали, видимо, и сложившийся уклад жизни, и привычки, и связи с долголетним местом работы.

У нас, у студентов, в шутку говорили, что жизнь — она полосатая. Была, наверное, в шутке и доля правды, потому что удачи тогда следовали в моей жизни одна за другой.

Мать ног не чуяла, расхаживая по новой прекрасной двухкомнатной квартире. Анюта привезла из дома родителей великолепное пианино. И в нашей квартире прописались еще музыка и смех, дружба и радость.

Вскоре я сдал последний государственный. А когда пришел домой, готовый порадовать родных высокой оценкой, сам получил подарок бесценный, Анюта объявила, что собирается стать матерью.

Да, все складывалось как нельзя лучше, пока в один из дней не рухнуло в тартарары...

Я готовился к последнему событию в моей институтской жизни — защите диплома. В нем шел разговор о сварке методом трения — тогда это было еще в стадии начальных опытов.

Защитил отлично, мне сказали, что оставляют в Москве. После жарких споров, взволнованные и возбужденные, мы очутились в кафе. Не помню, как это произошло. Знал, что дома меня ждут с тревогой и волнением. Было же решено, что отпразднуем это событие сначала в семейной обстановке. Потом можно уж и гостей позвать. Но ведь и товарищей, которые переживали за тебя, не бросишь. И скупцом называют и еще как-нибудь похлеще...

...Шумело кафе. Шумело наше застолье. Шумела голова. Мы расплатились раз. Но почему-то не ушли, а заказали по новой. И снова расплатились, и снова стали собираться на новый заказ.

Мне стало плохо. Не помню, как очутился на улице. Потом я куда-то плыл. Или это дома плыли на меня, а ступени лестницы вставали дыбом, пытаясь сбросить меня вниз. А я настойчиво, вытирая разбитое лицо, карабкался по ним вверх.

Где-то я читал, как во время войны уже взрослый, седой человек, будучи тяжело раненным, кричал на поле боя «мама»... То ли по этой ассоциации, то ли инстинктивно, слабея, я позвал мать. Голос мой гулко прозвучал в пустынной лестничной клетке большого дома... ввысь до верхнего этажа и опустил на меня тяжелым эхом.

Чьи деньги тратит, сам не знает

он,

Но приходит утро, словно

страшный сон...

Слова этой пошленькой, привязавшейся песенки, звучавшей вечером в кафе, были первыми, что пришли мне в голову утром.

Лучше бы и не просыпался. В загаженной комнате я был один. Родные раздели меня, и на полу возле кровати лежали разорванные, мятые тряпки — все, что осталось от материнского подарка, шикарного темно-серого костюма, на который мать так долго копила деньги и который так кропотливо и любовно выбирала в магазине вместе с Анютой.

Еле оторвал я от подушки гудящую голову. Прислушался. За стеной тихо. В квартире никого не было. Анюта в своей музыкальной школе. Зачем из квартиры ушла мать — ума не приложу. Ах, если бы она не уходила...

В большой комнате, сиротливо сдвинутые к краю стола, стояли прикрытые салфетками тарелки с закусками — приготовленный матерью и женой праздничный ужин.

От тоски и стыда я заплакал. Внутри все горело, хотелось пить. На кухне увидел непочатую бутылку коньяка. Я никогда не опохмелялся раньше, но знал, что многие к этому прибегают, чтобы «поправить» голову после большой выпивки. Налил чуть ли не полный стакан и выпил залпом. Пожар внутри вспыхнул с новой силой. На смену тревоге постепенно приходило безразличие. «Будь что будет», — думал я, снова опрокидываясь на кровать. Мозг уже не казнил меня. Я уснул.

Разбудил меня телефон.

— Привет, дружище! Что же ты нас бросил вчера? Не товарищески! — голос Виктора, как всегда, чуть хрипловатый, звучал укоризненно. — Голова разламывается. А у тебя как?

Я молчал, не зная, что ответить.

— Спускайся вниз. Есть сто семнадцать рублей. И со мной кое-что еще, — продолжал Виктор. — Или подняться к тебе? Ты один?

— Сейчас спущусь, — сказал я.

Деньги у Виктора в тот раз действительно были. А «кое-чем еще» оказалась наша сокурсница Светлана Дымова — миловидная девчонка с огромными, как у фарфорового манекена в парикмахерской, глазами. Когда-то у нас был роман, начавшийся и кончившийся поцелуями в подъезде. А потом, я знал, в жизни Светланы была и взрослая любовь...

Мы втроем опять оказались во вчерашнем кафе, где нас приняли как старых знакомых. Я быстро пьянел. Не помню, куда пропал Виктор, и не очень хорошо представляю, как очутился в комнате Светланы, которую она, как иногородняя, снимала неподалеку от нашего института. Кажется, она мне сказала, что надо провожать женщин до дома.

— Отдохни, я сварю кофе с ликером, — сказала она.

Только, по-моему, мы пили не кофе с ликером, а ликер с кофе. Я лежал, а она сидела около меня, что-то говорила доброе и успокаивающее. Ее рука гладила и перебирала мои волосы, как в далеком детстве делала это моя мать.

Я проваливался в какое-то небытие. Мне было хорошо и приятно. А рука ее, мягкая и добрая, все гладила волосы, лаская и убаюкивая. Ушел я от нее под вечер...

...Телефонный звонок зазвучал так резко и неожиданно, что оба мы

вздروгнули. Александр Шалвович снял трубку, слушал минуту молча, потом сказал только одно слово: «Выезжаю».

И, не простившись со мной, не видя меня, вышел из кабинета.

А я в разлете своего рассказа остановился, как лошадь на большом карьере. Я был обижен, просто обескуражен, что профессор отменял меня, как будто смахнул со стола какую-то соринку. В отместку я со злобой сунул окуроч в один из стаканов, из которого он пил чай. Окуроч сигареты, которой он меня угостил. И уныло побрел в палату.

Здесь продолжались разговоры о выпивке, о женщинах, о драках. С высоким знанием предмета обсуждались преимущества политуры перед «аптекой», самогона перед денатуратом.

Так уж повезло мне с «контингентом». Во всем отделении был только один «очкарик» из интеллигентов, но он сразу обособился от остальных, застегнулся на все пуговицы своей не по больничному образцу пижамы и на все попытки завести с ним разговор отделивался одной и той же стереотипной фразой: «Извините, пожалуйста. Я очень занят».

Ко всему прочему он еще и не курил. А курилка — это, как известно, не только клуб, а еще и исповедальня. И школа опыта. Здесь тебя научат тому, что ты еще не знал. И расскажут такое, что ты сам себе покажешься ангелом. Несмотря на все свое туманное прошлое.

Тускло мне было и одиноко в тот месяц. Еще, наверное, и потому, что отношения у меня с врачами не складывались. Ну, никак.

Сначала я попал к Людмиле Ивановне. Она была молода и красива. Недавняя выпускница института, она цвела женским счастьем молодого супружества, ликующей радостью недавнего материнства. И как она ни старалась скрыть свою брезгливость к нам, ей это не удавалось. Она подсознательно сквозила во всем: во взглядах, в разговорах, в пожатии плечами, в мимике лица. Никак не удавалось ей скрыть свою неприязнь к нам.

Может, с медицинской точки зрения это было и правильно, но когда она меня спросила: «С каких лет вы начали жить половой жизнью?» — я воспринял этот вопрос как глупую шутку и ответил:

— С двенадцати.

— А ей сколько было?.. Ну, вашей партнерше?

— Тоже двенадцать.

Она чуть покраснела, старательно и усердно записала что-то в историю болезни.

— У вас наколки есть?

Я посмотрел ей в глаза, не понимая, какое это имеет отношение к моему алкоголизму.

— Я спрашиваю — татуировки у вас есть? — пояснила она.

— Было пять, — ответил я. — Осталась одна.

— Куда же делись остальные? — с любопытством ребенка спросила она.

— Стер. Чернильным школьным ластиком.

Она поняла. Покраснела. Покрылась пятнами. Долго молчала, копаясь в ящике стола. Потом, найдя, что искала, протянула мне огрызок чернильного школьного ластика.

— Сотрите и остальную, оставшуюся. Лечиться будете у другого врача.

Другой врач был мужчина лет сорока. С огромным сократовским лбом дурака. Бывают и такие лбы. Или — или...

Он играл. Непонятно в кого. Наверное, сам в себя. Он не разговаривал — он изрекал. Он вещал. Он тужился. Стандартные, пошлые истины произносил с такой тупой многозначительностью, будто открывал истины в последней инстанции.

— Водка — бяка! Она разрушает организм. В здоровом теле — здоровый дух. Лучшее занятие для хронического алкоголика — спорт.

— А каким видом спорта вы советуете заняться мне? — спрашивал я.

Окинув взглядом мою истощенную фигуру, он открывал секрет:

— Мускулы надо наращивать!

Врачи здесь были, если сказать одним словом, бросовые. Это были не просто врачи-неудачники. Они и люди были неинтересные. По сути дела, кое-как натасканная в институте полуграмотность.

Правда, это была одна из первых наркологических больниц для хронических алкоголиков, ютившаяся на задворках какого-то строгого учреждения, с малюсенькими врачебными кабинетами, где впритык стояли сразу два стола. Два врача и двое больных вели разговор квартетом. Отойдя от запоя, каждый из нас понимал, что здесь не лечат, а скорее всего играют в лечение.

Хотя не совсем я и прав. Медсестры здесь были асами своего дела. Те, видно, хлебнув горя не только с нами, но и у себя дома, старались изо всех сил, чтобы подлечить нас. И кололи, и поддували кислородом под лопатку, и не отходили, пока не убеждали, что таблетку ты проглотил, а не положил за щеку. И не ленились встать ночью, чтобы принести тебе в постель рюмку прописанной микстуры.

Пусть почти всем здесь давали одни и те же лекарства, но они все-таки действовали. После месяца пребывания в больнице, когда состоялся наш первый разговор с Александром Шалвовичем, я уже обрел человеческий образ мыслей. И я так обрадовался своему собеседнику, мне так хотелось все ему рассказать. Вот почему меня взбесило его внезапное исчезновение.



Шли дни, а он все не появлялся и не появлялся. Прошла неделя, потом вторая, а его все не было. И я первый раз в жизни понял значение исповеди. Желание исповедаться перед умным, понимающим, а главное, желающим выслушать тебя человеком просто разрывало меня. И постепенно я начал разговаривать с ним мысленно. Сначала сбивчиво и путанно. Потом стал записывать свои мысли. Конечно, все, что я писал, я знал давно. Но это, пожалуй, был первый анализ своих прежних поступков перед самим собой. И на бумаге это выглядело значительнее, весомее, чем в быту. Быт как-то заматывал, закручивал, не давал возможности остановиться, задуматься, преподносил новую рюмку и вертел в калейдоскопе пьяного «чертова колеса».

Я писал, никого не стесняясь, как пишут дневник, для одного себя. И все с более ясной отчетливостью приходил к выводу, что я не только хронический алкоголик, но и хронический, если можно так сказать, вор.

Да, вор-то может и не быть алкоголиком. Но уж алкоголик-то всегда к тому же и вор. Он обворовывает всех и подряд. И в первую очередь самых близких ему людей, чего настоящий, привычный вор никогда не делает. В первую очередь алкоголик обворовывает мать. Ворует ее мечту о спокойной старости. Ворует ее надежды, которые каждая мать возлагает на растущего сына.

Мой мозг тогда еще барахтался, выбираясь из цепких пут алкогольного дурмана, я еще не мог сказать, где именно я это прочитал, но помнил точно фразу о том, что выпитое сыном пропорционально слезам, пролитым матерью.

У жены алкоголик ворует супружескую верность. Это я тогда думал, что со Светкой у меня все было случайно и я попал в сети, расставленные ловкой женщиной. Теперь-то я точно знаю, что к пьющему и теряющему над собой контроль обязательно придет другая женщина. Будет ли это стечением случайных обстоятельств, проявлением ли чисто женского участия или жаждой мужской ласки, обоюдное опьянение или безысходность — назвать это можно как угодно, но другая женщина — не жена — непременно войдут в жизнь пьяницы.

И у детей своих алкоголик ворует самое дорогое, что у них есть, — их детство.

Мне самому стало страшно оттого, что я написал, и я пошел в курилку просить у кого-нибудь окурочек, так как не было у меня тогда ни копейки, а бесплатной махорки, как известно, в алкогольных больницах не выдают.



Потом я вернулся и крупными буквами написал: «ПРОФЕССОР НЕ ПРАВ». Никакой отдельной дороги у алкоголика нет. Все они идут одной дорогой, выбираясь на нее своей собственной тропкой. А дальше все как у всех — одна дорога воровства и преступлений. Больших или малых, но преступлений.

И финал один — смерть или решетка. А вот восприятие этого финала у каждого свое. Это верно. И статьи Уголовного кодекса, которые рано или поздно получают алкоголики, тоже разные.

\* \* \*

— Что же такое счастье? Как вы понимаете это состояние человека?—Мы снова сидели друг перед другом: я и Александр Шалвович, который явился почти после месячного перерыва. Я пытался было сказать все, что продумал за время его отсутствия, но он отшел мою попытку решительно.

— Нет, вопросы буду задавать я. И отвечайте, пожалуйста, по сути. Что такое счастье?

Еще месяц-другой тому назад я бы и не раздумывал над этим вопросом: это когда подработал на бутылку или встретил приятеля с деньгами.

Сейчас передо мной стоял стакан такого же крепкого чая, который пил и профессор. В блюдечке лежала для меня горка недорогих конфет.

Но все мое внимание приковывала стопка пачек сигарет «Прима». Я уже не раз успел незаметно пересчитать количество пачек в ней: богатство — целых десять пачек.

— Закуривайте. Эти сигареты для вас. Нехорошо подбирать окурки или без конца кланчить «чинарики» у соседей по курилке.

Я проглотил подступивший к горлу комок. Профессор отошел к окну.

— Я не требую от вас философского обоснования значения этого понятия. Просто хочу, чтобы вы рассказали своими словами, как вы понимаете такое доступное и такое понятное состояние человека: счастье!

Это трудно объяснить, с каким наслаждением я закурил. И главное, не потому, что долго не курил, а потому, что мне разрешили курить и как бы сняли с меня позорное пятно отверженного, как бы поставили на доску равных. Поставили в позицию двух равных собеседников, ведущих разговор. Ох, как же долго я скучал по этому, как же долго хотел именно этого.

...На много лет назад отбросил меня этот вопрос.

Счастье... Конечно, оно было. Добрая, ласковая мать, любящая жена, растущий сынишка — все, что называется семьей, собранной

в уютной квартире. И, наконец, любимая работа. Чего еще может пожелать для своего счастья нормальный человек? А ведь у меня все складывалось именно так.

Тогда, после защиты диплома, я получил направление в один из головных научно-исследовательских институтов столицы. Я вошел в дружный коллектив подотдела, работающего над новыми проблемами электросварки. Иногда по вечерам всей группой заходили в кафе выпить по рюмочке. Мы сдвигали два-три столика, и даже в час отдыха продолжались разговоры на темы, наполнявшие нашу жизнь.

Меня считали хорошим, но «заводным» парнем. Там, где друзья выпивали по рюмочке, я успевал по три. И если в их посуде плескался жиденький портвейн, то у меня поблескивал обжигающий коньяк. Когда мы расходились, я наскоро прощался с друзьями неподалеку от кафе, смотрел, как они скрывались за первым углом, и возвращался, чтобы добавить.

Мне всегда казалось мало. Ведь я был «заводной». Потом я не торопился идти домой. Я «берег» своих родных. Мне не хотелось, чтобы они заметили мое опьянение. Иногда в такие вечера звонил Светлане. И чаще всего попадал к ней. Здесь меня не ругали за то, что я выпил. Не раздражались и не читали нотаций. И даже по-хорошему не упрекали, чтобы я больше не пил.

Домой пробирался как вор. И приходил, когда Анюта уже спала. Но самое удивительное, что я еще к тому времени не окончательно потерял совесть. По утрам меня грызло раскаяние, на душе было омерзительно. В институт являлся мрачным, уединялся за своим столом или удалялся в лабораторию. Хотел забыться в работе. Но организм уже требовал похмельки, и часов в 11—12 я выбегал на улицу, в «Вино-воды», и выпивал крепленого красного вина.

Я начал всех обманывать, стал жить двойной жизнью.

Иногда приходила мысль пойти к руководству, в партком. Рассказать, что начинаю скользить по наклонной. Все начистоту объяснить дома, покаяться, попросить прощения и начать жизнь заново, честно и чисто...

Но у меня не хватало духу, не хватало силы. Я трусил.

Где-то я читал, что подлец не всегда трус. Но трус — всегда подлец. Мой пример подтверждал это. И я продолжал лгать.

Ложь... Я знаю, что это такое. Ложь — самое большое зло и самый бездушный на свете убийца. Можно ли себе представить любовь или дружбу, основанную на лжи? Ложь — самый большой, самый злой разрушитель. Но ведь выпивка и ложь — неразлучные спутницы. Поэтому все у меня гнбло и все разваливалось.

Мы, право, бываем чудачками, когда думаем, что никто не видит нашего прямого лица, никто не замечает покрасневших, бегающих глаз, пытаемся «дышать в себя», чтобы не обнаружить запах перегара.

Жалкие потуги. Человека с похмелья можно узнать даже по спине. Он какой-то пришибленный и униженный.

Боролся ли за меня коллектив? По-своему да. И друзья со мной много раз говорили. И предупреждали, что начальство уже косо на меня смотрит, что плохо кончу.

Помню, однажды, когда на душе очень уж плохо было с похмелья, вызвал меня к себе начальник отдела. Это был мягкий, добрый человек, воспитанный и застенчивый. Пригласив сесть, он долго и мучительно ходил вокруг до около, пока наконец, конфузясь, не спросил:

— Скажите, Николай Демьянович, это правду говорят, что вы часто выпиваете? Может, у вас дома неприятности? Может, помочь чем надо?

Я был зол. Мне бы ухватиться за протянутую руку. А я схамил:

— А если неприятности в доме, то, по-вашему, нужно обязательно напиваться?

Шеф растерялся. Вместо того чтобы оборвать меня, он начал оправдываться:

— По-моему? Разве я говорю, что в таком случае надо пить? Вы не так меня поняли...

Он был мягкий человек. И умный. И, конечно, понял, что я не только выпивоха, но еще и нахал.

А еще через несколько дней произошло событие, поставившее меня в разряд людей второго сорта. До этого я еще не очень ощущал, что алкоголик — личность неполноценная. Я все же работал, вносил иногда ценные предложения, спорил на собраниях, не замечая подчас, что во взглядах слушающих нет-нет да и промелькнет пренебрежение «Ну что, мол, с него сегодня спрашивать. Ведь нездоров...»

А в тот день на производственном собрании это проявилось отчетливо и ясно.

Я не дружил с нашим замом, человеком, по моему мнению, пустым, далеким от науки карьеристом. В тот день он делал доклад. Я знал об этом заранее и готовился выступить в прениях.

Был я трезв. Но перед собранием вышел и выпил стакан вина. Говорил я дельно и правильно, но слишком резко покритиковал докладчика, расширил тему. В моем выступлении проскользнула мысль, что ошибки нашего зама не случайны. Что тяжело ему руководить таким подотделом... Когда сел, шеф в полной тишине спросил докладчика:

— Что можете ответить на критику Николая Демьяновича?

Докладчик встал, и, пригладив волосы, долго стоял молча, как бы обдумывая ответ. Наконец, сказал:

— Что можно возразить человеку, находящемуся в состоянии похмелья? Я не считаю нужным отвечать Николаю Демьяновичу сегодня.

Удар был запрещенным. Я не стал дожидаться, когда шеф потушит вспыхнувшую от возмущения аудиторию, и покинул собрание.

На следующий день подал заявление об уходе, администрация меня не задерживала. Я не очень горевал, но урок был жестоким.

Светлана, у которой я переживал свое падение, рассудила коротко: — Пока сам по горло в дерьме, не чирикай!

На новой работе, куда вскоре поступил, я уже «не чирикал», просто делал свое дело. А оно было для меня нетрудное.

Эта организация занималась внедрением новых методов сварки на различных объектах. Приходилось ездить в командировки в разные уголки страны.

Знал я уже в то время немало. И помощь производству мог оказать заметную. Главное, я был опытным сварщиком и при необходимости мог не только объяснить, но и взять в руки резак.

Интересная это была работа. И доходная. По окончании командировки начальник объекта всегда выписывал нам премиальные. А если прибавить к этому постоянный оклад, суточные, квартирные и командировочные — получалось совсем неплохо.

Только не держались у меня деньги. Закончив дела, мы просили начальство отметить нам командировочные не днем окончания работы, а дать два-три дня на отдых. Нам шли навстречу, и в этом не было никаких нарушений. Ведь рабочий день у нас ненормированный. Иногда при необходимости прихватывали и по вечерам и по две смены выходили.

Друзья мои отдыхали по-настоящему. Я же предпочитал знакомиться с местными ресторанами. Приезжал домой, конечно, без подарков и без денег. А потом даже и без тех вещей, которые брал с собой в командировки. Вместо хорошего пальто на мне оказывался поношенный плащ, вместо пиджака — потрепанная куртка, вместо ботинок — рваные резиновые сапоги.

Что было дома? А что может быть в таких случаях? И слезы были, и просьбы. Тяжелые ссоры и уговоры. Все было. А больше всего — моих клятв, что это в последний раз.

Но Анята не бросила меня и после того, как я был снова уволен. Хотя отношения наши становились какими-то странными и непонятными. Фактически она перебралась в большую комнату, там жили мать и Вовка. Виделись мы в эту пору мало, интересы наши все более и более расходились. Мне уже неинтересно было идти с Анятой и Вовкой в кино. А когда жена заводила разговор о театре, я лишь отмахивался. Я не возражал, что Анята без меня идет на стадион, в театр или в свой любимый зал Чайковского. Я в эти часы «гадал» где-нибудь «на троих»... И все же Анята не бросила меня в той беде.

Однажды я сидел в своей комнате, размышляя, как жить дальше,

куда устроиться, и вдруг услышал звуки пианино. Давно уже в нашей квартире не звучала музыка. Давно Анюта не садилась за инструмент.

Взяв несколько аккордов, она перешла на знакомый мотив — это была любимая песня ее отца. Он воевал, был тяжело ранен. Спасла его медсестра. Он говорил, что звали ее Анютой. Так это или нет, но песенку об Анюте он напевал часто, особенно когда ему грустилось. Слова в ней были немудреные.

Голос Анюты звучал сначала задушевно и печально.

Мне часами казались минуты.  
Шел по-прежнему яростный  
бой.

Медсестра, дорогая Анюта,  
Подползла, прошептала: «Живой...»

Поднимись, погляди на Анюту,  
Докажи, что ты парень-герой.  
Не сдавайся ты смертушке

лютой  
Мы над ней посмеемся с тобой...

Пианино неожиданно смолкло, и я услышал рыдания. Через секунду Анюта открыла дверь в мою комнату. Такой я ее запомнил на всю жизнь. Она никогда еще не была такой красивой. Она крепко обняла меня, замерла и сказала:

— Что же ты все молчишь? Выправимся. Ты только возьми себя в руки. Ты же сильный. Ты можешь. Ну, не ради меня, так ради сына, ради матери. Ведь она слабее всех... Первая не выдержит...

В ту ночь мы почти не спали и проговорили чуть ли не до рассвета. Было решено идти мне на стройку сварщиком. Работа на воздухе, тяжелый физический и вместе с тем четко нормированный труд, рабочий коллектив — все это должно было мне помочь вырваться из болота, в которое я сам завел себя.

В отделе кадров строительного управления, куда я пришел устраиваться, несколько удивились, когда узнали, что я дипломированный инженер, проработавший до этого много лет в научных учреждениях.

— Чем же вызвано ваше решение пойти на стройку рядовым сварщиком? — спросили меня.

— Хочу переменить обстановку. Устал. Да и личная практика никогда еще не мешала ни одному научному работнику.

Я сорвал еще раз. И, как всегда, ложь разрушила все.

Потом мне стало известно, что, когда из отдела кадров позвонили на мою прежнюю работу, там ответили:

— Способный, очень, но выпивает.

Здесь поняли по-своему: «Способный, но очень выпивает». В отделе кадров это сообщение не удержалось и вышло на стройку еще чуть измененным: «Способный выпивоха». Так, не начав еще по-настоящему работать, я уже получил эту звонкую кличку.

Почему так вышло, я не знаю. Но факт остается фактом.

Я разозлился и замкнулся. Две недели работал напряженно, и бригадир наш, Володя Смагин, вынужден был каждый день признавать мою работу отличной. Но от всех попыток ребят завязать со мной дружбу я отгораживался стеной молчания.

— Ты чего такой молчальник? — по-товарищески как-то обратился ко мне Володя.

— Я не «ты», я «вы», — отрезал я. — Мой разговор — отличная работа. Вопросы есть?

Люди не прощают надменной кичливости и дутого превосходства. Слышал, как поползли за спиной слушки:

— Долго не протянет. Хитрит, но на то и «способный выпивоха»... Сорвется...

А я решил не срываться. И первую получку всю до копейки понес домой. Понес, но не донес. По дороге меня стали одолевать соблазны. Зашел в гастроном и, чтобы оправдать покупку своего пол-литра, приобрел домашним много вкусных вещей. Де мол, всем по подарку. Потом меня осенила мысль: «Ведь мне не дадут выпить дома всю бутылку. Отберут». Я купил еще четвертинку и спрятал ее отдельно, в боковой карман пиджака.

По тому, как тревожно встретили меня дома, понял, какое волнение царило здесь до моего прихода.

— Ну зачем же водка-то, Коля? — спросила жена, разбирая покупки. — Неужели...

— Так ведь в дом, Анюта. Рядом с тобой. На вас, жен, не угодишь, — притворно обижался я. — То говорите, лучше в доме выпить, то...

— Ладно, хватит вам, — вмешалась мать. — В доме — не на улице... И мне рюмочку с первой получки...

Пока домашние готовили стол, я зашел в свою комнату и спрятал запасенную четвертинку за диван.

За столом мать взяла себе самую большую рюмку. Я понял ее хитрость — чтобы мне меньше досталось. Рассмеялся, поменялся рюмками, сказал, что много пить не буду. Было по-семейному весело и дружно. Когда же в бутылке осталось чуть меньше половины, она чудом улетучилась со стола, и на мой вопросительный взгляд Анюта ответила:

— Хватит, Коля. Ты уж половину выпил.

«Наивные женщины», — подумал я. Они не знали, что и в той четвертинке, которую я спрятал, оставался уже лишь глоток на утреннюю похмелку. Но и он не дождался утра.

Утром еле встал. Уходил, когда еще все спали. Взял на кухонном столе целковый, приготовленный Анютой мне на обед. С той мелочью, что оставалась в кармане после вчерашних покупок, собралось около двух с половиной.

Голова шумела. Но чего со мной раньше никогда еще не бывало — дрожали руки. Я тер их, сжимал в кулаки, опускал вниз, чтобы прилила кровь, поднимал вверх, чтобы она отлила, но стоило распрямить пальцы горизонтально — их била дрожь. Как же резак держать? Ведь запорю... А предстояла работа, как назло, точная и ответственная.

По дороге решил «строить» — выпить стакан водки. Первую бутылку мы распили за углом. Показалось мало. Со второй пошли на заброшенный стадион и там расположились на травке, пили не спеша. Я знал, что опаздываю. Но чувствовал, что не могу идти на работу в таком виде.

Дальше следовали какие-то провалы и редкие проблески в них. Помню, как с новыми друзьями продавали мои часы, потом чей-то пиджак. На второй день «загудел» мой плащ...

Приходил в себя на полу чьей-то чужой кухни, в ободранной комнате подготовленного к сносу барака. И, наконец, открыл глаза в вытрезвителе. Видимо, с кем-то дрался. Левый глаз запух совсем. На правой ноге — царапины от женских ногтей...

...Возвращение домой — дорога на Голгофу. Я еще никогда не видел мать в таком виде. Она дрожала с головы до ног, говорила что-то несвязное. И плакала от горя. И радовалась, что я оказался живой. Трое суток они с Анютой звонили по милициям, моргам и больницам.

— Ты только не расстраивайся. — Мать подала мне конверт. — Я просила, но...

Уткнувшись в передник, мать зарыдала.

«...Я люблю тебя, — писала Анюта в этом прощальном письме. — Я вернусь к тебе по первому твоему зову, когда бросишь пить. Ты ведешь себя, как преступник. Ты убиваешь себя, свою мать. Я, видимо, для тебя ничего не значу. Но я не могу позволить тебе калечить жизнь нашего сына. Своим пьянством ты убьешь и Володьку. Если не физически, но нравственно. Этого я не допущу.

Брось пить. Встань на ноги. Позови!

Анюта».

Анюта, Анюта... Даже своим уходом она протягивала мне руку помощи.

\* \* \*

Я не позвал. Не потому, что не хотел. Не мог.

Наклонная плоскость — вещь страшная. Чем дальше по ней

скользишь, тем быстрее и стремительнее твое падение. Я все глубже и глубже падал в пропасть алкоголизма. В пропасть, у которой нет дна!

Ко всему прочему, в эту пору в мою жизнь вошло страшное понятие — одиночество, неизбежное состояние каждого пьяницы. Ведь случайные собутыльники, так же как и попутные женщины, еще никогда и никому не становились друзьями. Теперь-то я знаю, что из всех бед человечества самая страшная — одиночество среди людей.

Я был одинок даже в самом шумном и суетном месте Москвы, там, где я, бывало, любил стоять, наблюдая темп жизни и заражаясь им, — на перекрестке улицы Горького и Садового кольца. Я стоял один. Меня никто не ждал и не встречал здесь, так же как и нигде в другом месте на всем белом свете...

Не ждала меня больше и мать. Мать, которая всегда ждет, даже тогда, когда ждать уже больше некого... Последнее время она болела гипертонией, не могла одна выйти из дома, и я должен был сходить хотя бы в магазин, чтобы принести ей что-нибудь поесть. А со мной бывало и так, что, уходя в магазин на минуту, я пропадал надолго и возвращался пьяный — без денег и без еды. Бывало и так...

— Может, вы не хотите говорить об этом периоде жизни? Вам трудно?

Да, я не хотел рассказывать об этом.

Профессор пододвинул мне стакан крепко заваренного чая, бросил в него сразу два кусочка лимона.

— Я не настаиваю. Человек имеет право на тайны.

— Нет, Александр Шалвович. Не нужно мне этих тайн. Я расскажу все. Только не думайте, что это какое-то самоуничтожение, как вы сказали. Нет. Если человек имеет право на тайны, то он имеет такое же право и на откровенность. Конечно, об этом можно и промолчать. Только не будет тогда между нами искренности. А я теперь знаю точно, что между двумя людьми может быть только одно из двух: либо честная искренность, либо обман. Половина правды — та же самая ложь. Уж лучше горькая, но правда...

...Да, это была темная, самая черная полоса моей жизни. Я мыкался тогда по разным работам. Где и в качестве кого я только не подвизался! Работал экспедитором почтового вагона. Служил электриком в жэке. Был даже сторожем на дровяном складе.

А когда мать забрали в больницу, работал в столовой. Разнорабочим.

Кто-то умно придумал это слово вместо «чернорабочего». И верно, что это за «черная» работа? Нет такой. Каждый труд радостен и светел. И в своем процессе, и в своей сути. А моя работа была еще и приятна по результату. По крайней мере я всегда был сыт. А все заработанное шло тогда на выпивку. И не только мой могучий оклад



в семьдесят рублей. Я успевал подработать и на подножке вещей у мебельных магазинов, и на очистке снега с крыш в дни больших снегопадов.

Но основной мой побочный заработок в то время составляли бутылки. Я собирал их под столиками в столовой, где, несмотря на строгую этикетку «Приносить с собой и распивать спиртные напитки категорически воспрещается», всегда появлялась опорожненная посуда.

Правда, на этой основе у меня была лютая вражда с уборщицей столовой тетей Нюшей, претендовавшей на весь доход от пустой посуды, но я был сильнее и проворнее этой неуклюжей пожилой женщины.

Мать забрали без меня. У нее хватило сил превозмочь очередной приступ, позвонить по телефону и заранее открыть дверь врачу. «Скорая помощь» застала ее уже без сознания.

По дороге с ней случился удар, и в больницу она поступила уже парализованной. Отнялся язык, не действовала вся правая половина тела.

Увезли ее в пятницу. Я же домой заявился только вечером в понедельник. Узнал обо всем из записки врача, оставленной на столе. Здесь же лежал конверт и от матери. Это было своеобразное завещание. Я помню его наизусть.

«Я чувствую, что приходит мой конец. Не сегодня-завтра ты останешься один. У нас в России последняя воля умирающего исполняется обязательно. Я заклинаю тебя в этот свой смертный час, умоляю тебя как мать — перестань пить.

Только об одном и прошу. Все. Люблю и целую тебя.

Твоя мама».

И вторая бумажка выпала из конверта. Это была доверенность на получение материнской пенсии. Она тоже была подготовлена заблаговременно и заверена печатью домоуправления. Мне лишь оставалось поставить дату.

Немногие, наверное, в жизни испытывали такие потрясения. Легко сказать: читать завещание еще живого человека, где каждое слово, каждая буква проникнута любовью к тому, кто отбирал последнюю надежду на выздоровление, кто вел больного к преждевременной могиле.

Утром следующего дня я был в больнице. Мать лежала неподвижно на широкой просторной кровати — мертвец с живыми глазами. Но эти глаза на человеческой маске лица смотрели на меня жадно, неотрывно, как бы пытались запомнить навсегда то, что видели.

Пробыл я в палате несколько часов. Когда собрался уходить, мать забеспокоилась, замычала. Я дал ей в левую руку карандаш, и после долгих и мучительных усилий на листочке бумажки появились разбросанные буквы-каракули: «Приходи чаще. Буду ждать!»

Это тоже у меня в памяти навечно. Особенно восклицательный знак в конце фразы.

Болела мать долго, несколько месяцев. Сначала я ходил довольно часто. Потом все реже и реже. А она ждала. Особенно в дни моих получек и в дни выдачи ее пенсии. Особенно в выходные дни, когда ко всем приходили посетители.

Именно в эти дни я и не бывал. Разве я нарочно это делал? Нет! Я заранее готовился к посещению больницы. Стирал и гладил рубашку, обновлял свой истрепанный костюм, иногда покупал вкусные вещи.

Потом, когда все было готово, я позволял себе выпить стаканчик. Шел в недалекий магазин и выпивал на троих. «Почему же всем можно, а мне нельзя?» — думал я.

Но все, даже из тех, кто пил на троих в субботний вечер, опорожнив стаканчик, спешили домой. Мне же казалось мало. «Ну, еще один, и все», — уговаривал я себя. И снова кружил у подъезда, искал собутыльника.

Потом в голову приходила спасительная мысль: «К утру просплюсь» — и я продолжал.

Просыпался, как правило, у себя дома с кем-нибудь. Или с очередным собутыльником, чаще с очередной «дамой сердца». Среди обидок из тех вкусных вещей, которые я готовил для матери накануне, валялись пустые бутылки.

Я выгонял гостя, лихорадочно искал выход из положения и находил его... в магазине. Выпивая на похмелку очередной стакан, думал и клялся: «Во вторник обязательно пойду. Разобьюсь в лепешку, но обязательно достану денег и пойду к матери».

В понедельник я бывал сам не свой. Появлялась необычная хитрость, изворотливость, находчивость. Искал денег. Приставал к сослуживцам с ножом к горлу, выклянчивал именем матери, вымогал. И находил.

А найдя, расслабленный и разбитый, измученный совестью и поансками, обессиленный водкой и голодом, я позволял себе выпить стаканчик. Для подкрепления. «Только один...»

Однажды после долгого перерыва я все же пришел к матери. На ее постели лежала другая женщина. Такая же, как и у матери, мертвая маска лица. Но совсем мне чужая.

— Она вас так долго ждала, — донесся, как сквозь вату, голос сестры. — Всю последнюю неделю смотрела на дверь, глаз не отрывала...

Первый раз в жизни я потерял сознание...

...Мать хоронил один. Даже видавшие виды работники крематория с удивлением смотрели на мою одинокую фигуру у гроба и на убогий наряд матери. Конечно, здесь никто не знал, что даже о своих похоронах мать тоже позаботилась сама. Когда ее забрали в больницу

и раздели, на ленточке, повешенной на шее, обнаружили небольшой мешочек. В больнице сохранили его и выдали мне содержимое после смерти матери. Там были золотые часы — мой подарок, обручальное кольцо, старинные серьги — давний отцовский сувенир.

Я продал все это. И вот теперь хоронил мать. У меня кружилась голова, и, чтобы не упасть, я держался за край гроба.

И поминки организовал для себя одного. Да мне и некого было позвать, чтобы разделить горе.

Я пил один, и перед воспаленным взором вставало огромное материнское сердце. Оно было большим и добрым. А я все нес и нес туда все свои печали и беды, все горечи и несчастья. И какое бы оно ни было всеобъемлющее, это материнское сердце, оно не выдержало.

С тех пор я начал пить в одиночку. Мне не нужны были ни болтливые приятели, ни податливые, безотказные собутыльницы. Ушла даже и та иллюзорная видимость дружбы, которая минутно создается в пьющей компании.

Я был не нужен никому. И никто не нужен был мне. Черное одиночество замкнулось вокруг меня плотным кольцом.

\* \* \*

...В нашей больнице (она и состояла-то из одного отделения — шесть палат по десять коек) большие перемены. Главным врачом по совместительству с его основной работой назначен Александр Шалвович.

Менялись врачи — менялся и контингент. Впервые в этом отделении появились «добровольцы». То есть те, кто сам, без всякого поножждения просился и добивался.

Сначала их было только трое. Потом семеро. Потом шестнадцать. Как-то невольно я попал в их компанию и был этому очень рад. Здесь были другие разговоры, другие потребности, другие мечты.

Александр Шалвович работал с ними почти каждый день. И уводил к себе в кабинет то одного, то другого, как мы говорили, на «исповедь».

Чайник по-прежнему пыхтел у него в кабинете, и по-прежнему пил он сразу из двух стаканов. Но появилась здесь и интересная новинка. Это был большой напольный магнитофон типа дачного холодильника, на который при каждой беседе профессор ставил новую пленку.

Он не выслушивал всех до конца. Он как-то умел прервать их на каком-то особом месте, как бы давая больному неделю-другую подумать о всем сказанном, покопаться в себе. А потом неожиданно вызывал и продолжал неоконченный разговор.

Так вновь дошла и моя очередь. Профессор поставил пленку, и я впервые услышал свой голос, записанный на магнитофонной ленте.

«Я был не нужен никому. И никто не нужен был мне. Черное одиночество замкнулось вокруг меня плотным кольцом...»

— Неужели у вас не было ни одного человека, которого можно было бы позвать на помощь в эту трудную минуту?

— Во-первых, я не звал. Во-вторых, одиночество так потому и называется, что позвать некого. А в-третьих, он пришел сам, этот человек, который протянул руку помощи.

— Жена ваша? Анюта?

— Нет. Человек, которого я не любил. На которого всегда смотрел косо. Это был Виктор. Я упоминал о нем в начале рассказа. Упоминал плохо. А он один-единственный пришел ко мне. Это был мне еще один урок: не делай о людях поспешных выводов.

Нашел Виктор меня неожиданно и явился как снег на голову.

К тому времени я уже все пропил, что получил как придачу при обмене квартиры. Да, к тому времени я уже поменялся. В старой жить не мог. И память о прошлом стискивала мне душу. И не нужна мне одному отдельная двухкомнатная квартира. И местная милиция стала присматриваться ко мне слишком пристально. Вот я и решил поменаться, чтобы сразу убить несколько зайцев. И немалую роль в этом обмене играли деньги.

Но к тому времени, когда появился Виктор, их уже не было. Жил я в другом конце Москвы, в большой коммунальной квартире, где мне принадлежала четырнадцатиметровая комнатка. Работал я в то время пожарником в одном театре. Застал меня Виктор в постели с высокой температурой — воспаление легких. И не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не он.

Виктор ухаживал за мной целую неделю, ходил в магазин и варил супы, бегал за свои деньги в аптеку.

— Вот что, друг, — сказал он мне как-то, когда я уже окреп настолько, чтобы ходить по квартире. — Есть у меня работа, поручили мне в одном НИИ. Надо рассчитать и сделать анализ. Один, как ты знаешь, я не справлюсь. Помогги. Работа месяца на два. Деньги поделим пополам.

Это было так тогда для меня далеко и вместе с тем приятно и неожиданно, что я согласился, не раздумывая. А когда Виктор сказал, что расчеты нужно вести по сварке трением различных материалов, у меня от радости сжалось сердце.

— Давай выпьем на радостях, — предложил я.

— О выпивке не беспокойся. Это за мной. Но больше четвертинки в день давать не буду.

Работа оказалась настолько интересной, что я позабыл обо всем на свете. Вот когда пожалел, что поменял квартиру. В моей комнатке не

хватало места для книг, которые Виктор приносил пачками, для справочников, логарифмических линеек и арифмометров.

Вскоре потребовался чертежный стол. И, сдвинув обеденный, мы приспособили чертежный у окна. На старых, давно не меняемых обоях появились белые заплаты — стены украсились ватманами, на которых под четкой рукой Виктора возникали блестяще вычерченные планы и диаграммы. Он был самокритичен, когда говорил, что считать и аналитически мыслить не умеет. Но надо отдать ему должное: никто на курсе не чертил так, как он.

Ночь у меня перемешалась с днем. Я забросил даже выпивку, а если и наливал рюмочку-другую, то после многих часов работы, для бодрости.

Виктор пропадал на три-четыре дня, потом появлялся радостный и возбужденный, с кулками и закусками, с сообщениями о том, что руководство очень довольно ходом работы, и выкладывал на стол полученные авансы.

Денег, правда, было негусто, но хватало нам свести концы с концами. И ведь это были только авансы. Да и не в деньгах тогда было дело. Работа почковалась, давала ответвления в сторону, будила интересные мысли, толкала к новым проблемам.

Так прошла почти вся зима. Более четырех с половиной месяцев я работал, не поднимая головы. А когда все было готово, Виктор, забрав все свои книги, пропал так же неожиданно, как и появился.

Его не было неделю, две, месяц. В конце мая я вдруг получил от него перевод на двести рублей откуда-то из Сибири. Он писал, что вернется через год и объяснит все.

А я был обескуражен. У меня было такое впечатление, что из меня, как из детского шарика, выпустили воздух, и все, чем я был наполнен это время, куда-то улетучилось.

Наверное, не признаваясь даже самому себе, я на что-то надеялся в тот период. По ночам, когда Виктора не было, я ложился усталый на минуту отдохнуть; и ко мне приходили неясные мысли: «А ведь еще могу что-то». Мне чудилось: все, что со мной происходило в эти долгие годы, было лишь страшным сном, что завтра, как обычно, приду на работу хорошим, чуть «заводным» парнем...

Я просыпался, вновь садился за расчеты, а мысли, пришедшие во сне, еще долго не уходили из головы: «А может, еще не поздно? Может, еще что-то вернем?» Это, наверное, и манило какой-то неясной, смутной и безотчетной, но все же надеждой.

Неожиданный и непонятный отъезд Виктора разрушил все сразу. Я очутился в положении человека, из-под которого резко выдернули стул.

Кончились деньги. Желудок предъявлял свои требования, и я обрадовался, когда узнал, что мое место пожарника в театре еще не занято.

Снова потянулись унылые дни бездарной работы и пьянки в одиночку...

— Дальше неинтересно, профессор. Все было одиноко и мерзко.

— А что Анюта? Разве за эти годы вы ни разу ее не встретили? И она ничем не напомнила о себе? Ребенком вы не интересовались?

— К сожалению, нет.

Это, «к сожалению», относится к ребенку. Как много я ни пил, все же понимал, что одного интереса к ребенку мало. Ведь я не платил ему деньги. Да с меня их и не требовали. А если бы и платил, разве это все, что должен дать отец сыну, чтобы считать себя отцом? А что я мог ему дать? Чем помочь, какое доброе чувство вызвать к себе?

Видел я таких отцов, которые с пьяной сопливостью лезут к своим детям, называют их сынками и дочками, не имея на это никакого права. И только брезгливость они вызывают у детей, отвращение, а потом и ненависть.

Пока была жива мать, она часто бывала в доме Анюты. И я знал, как живет сын. А Анюта знала, конечно, как живу я.

Не был я в суде (она подала на развод) и даже не получил извещения, что мы разведены. Зачем мне это?

А случайно я встретился с Анютой всего только раз. Совсем недавно. Незадолго до поступления сюда, в больницу. Но уж лучше бы мне не видеть ее никогда. Эта встреча добила меня...

\* \* \*

...Однажды, придя с работы, я обнаружил у себя в комнате подсунутый под дверь конверт. Почерк был незнакомый. Письмо дружеское и короткое:

«Дорогой Николай!

Не забыл ли ты, друже, что исполняется в этом году 10-летие нашей самостоятельной, послеинститутской жизни?

Так по этому поводу «поднимем бокалы, содвинем их разом!»

Мы решили отпраздновать эту славную дату и не только приглашаем тебя, но и вручаем тебе рог тамады, как бывшему старосте нашего курса.

А месту быть нашей встречи у «чертова колеса» в Парке культуры 1 августа в 18.00.

Мы отошли от традиции собираться в таких случаях только тем, кто совместно учился. С нами будут наши жены и матери, невесты и подруги, мужа и отцы.

Ждем тебя обязательно. Тебя и твоих близких. Сбор по пятерке с носа в адрес инициативной группы».

Сначала я не обратил внимания на это приглашение. Но ночью проснулся, перечитал еще раз и глубоко задумался. Конечно, я не мог пойти. Но чем ближе подходила дата, тем большее волнение охватывало меня. Очень уж мне хотелось посмотреть на ребят, узнать, «кто есть кто» теперь, взглянуть на них хотя бы одним глазом.

1 августа был воскресный день. Мне не сиделось дома, и уже с утра я отправился в Парк культуры. Я не собирался встречаться с однокашниками и махнул рукой и на свой мятый костюм, и небритую физиономию.

Слонялся по парку целый день, и волнение мое все возрастало. Чтобы успокоиться, я уже не раз приложился к «успокоительному средству».

В пять часов я прочно уселся на закрытой нависающими ветвями лавочке и приготовился наблюдать. Мне отсюда было видно хорошо: и часы на будке «чертова колеса», и само место встречи. К моему счастью, колесо испортилось, площадка была пустынной.

Они подходили и по одному, и сразу группами, по несколько человек. Еще издали открывались объятия, сыпались шутки. Я узнавал своих однокашников, их постаревших матерей и отцов, видел, как они знакомили друг с другом своих жен и мужей. Я узнавал их и не узнавал. Все они были изменившиеся, все были разные. Но одно у них общее: радость, не сходявшая с лиц.

Когда стрелки часов подходили к семи и было ясно, что уже больше никто не придет, большая процессия тронулась вдоль набережной к «Поплавку».

Я вышел из своего укрытия, обошел всю площадку, сел на одну из маленьких лавочек-ожидалочек, повыше поднял воротник пиджака. Чуть накрапывал дождь.

— Они уже ушли?

Этот вопрос, неожиданно ворвавшийся в мои горькие рассуждения, подбросил меня, как пружина. Мы оба растерялись, покраснели и первые мгновения не знали, что сказать друг другу.

«...Почему Анята здесь? Зачем ей мои бывшие однокашники? Неужели она пришла сюда как моя жена, надеясь встретить меня здесь...» — все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове.

«Неужели ты решился прийти на встречу? Почему же тогда не пошел с ними? Может, они тебя не взяли?» — читал я в глазах Аняты.

— Отойдем в сторонку. Что же мы здесь на ветру и дожде? — первой нарушила молчание Анята.

Я как-то инстинктивно направился к лавочке, на которой до этого прятался. Мы сели и снова долго молчали.

Она еще больше похорошела. Наверное, только вернулась из отпуска. Короткая юбка давала возможность видеть стройные

загорелые ноги. Чуть пополнила. Но это не портило ее, а, наоборот, придавало больше женственности.

Анна разглядывала меня в упор, не стесняясь. И кроме человеческой жалости, в ее глазах ничего не было.

— Ну, о чем же мне тебя спросить? — вновь прервала она первой затянувшееся молчание. — И так все вижу... А ведь я тебя ждала. Ждала, что позовешь. Долго... До-о-олго...

И по тому, как она это сказала, я понял: больше не ждет.

— А почему ты здесь? Ты ведь не кончала наш институт. И не ждешь меня. Что же тебе нужно на встрече наших выпускников?

— Мы поженились с Виктором Пильгуйевым полтора года назад. Разве ты не знал?

— Что-о? С Виктором? А где он сам?

— Он внедряет свою диссертацию в производство на одном из сибирских заводов. Я писала ему о встрече ваших выпускников. Прислал ребятам телеграмму. Просил передать. Вот я и принесла.

— Виктор? Диссертацию? Ты шутишь. У него куриные мозги. Он в лучшем случае просто чертежник...

— Тебе больно? Я все понимаю... Но не будь злым. Его диссертация по сварке разнородных металлов трением...

Наверное, я так изменился в лице, что Анна оборвала фразу на полуслове, невольно потянувшись ко мне.

— Что с тобой?

— А когда он защитил диссертацию? — еле выдавил я.

— В начале лета. Она произвела огромное впечатление. Его чуть ли не с защиты увезли на завод для промышленного внедрения...

Теперь я понял все до конца. Боль перехватила дыхание. Все то небольшое хорошее и честное, что еще оставалось во мне, было оплевано и раздавлено этим грязным предательством. Даже среди нас, пьяниц, такая неприкрытая подлость редко случалась.

Я на мгновение представил себе, как по ночам, в постели, после супружеских поцелуев, они обсуждали, как обманывать меня дальше. Виктор считал рубли, которые нужно было заплатить мне, а она советовала, что купить из еды, в каком магазине удобнее по пути купить водку.

Сердце болело.

— Будьте же вы прокляты. Подлецы!

Превозмогая боль, я встал и зашатался. Аня смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и я увидел в них ужас.

— Будьте вы прокляты оба. Предатели. Воры!

Не оборачиваясь, я ушел под дождь. У меня мутилось в голове. Я бродил по парку, как помешанный. Слезы текли по лицу, мешались с каплями дождя. Так прошло несколько часов.

Кончились вечерние представления, и парк наполнился гуляющей толпой. И вдруг мне стало страшно. Страшно быть одному в этой



гуляющей массе людей, куда-то стремящихся, медленно, но неумолимо и верно проходящих и не замечающих меня, будто я и не существую, будто я уже превратился в тень.

Не знаю, что меня толкнуло, но вдруг я остановился и громко крикнул:

— А я еще жив!

Люди шарахнулись от меня, образовав полукруг. Испуганный вначале шепот вскоре перешел в хохот. И, чтобы перекричать его, я крикнул еще громче:

— Не смейтесь! Я еще жив!

— Успокойтесь. Вы живы. Пойдемте отсюда.— Кто-то полуобнял меня и вывел из круга.

Как плевков в спину, услышал:

— Пьянчуга. Набрался до чертиков.

— Нет,— повернулся я.— Не напился...

— Нет-нет. Не напился,— соглашался со мной голос рядом идущего.— Присядем, отдохнем, Николай Демьянович.

Только сейчас я увидел мужчину, который вел меня под руку. Час от часу не легче: это был Юрий Давыдович — мой шеф из научно-исследовательского института, тот самый, который так робко и неумело спрашивал меня о моих выпивках.

— Сейчас мы поедем ко мне, Николай Демьянович. Не возражайте. Я один. Все на даче.

У меня не было сил сопротивляться. Но взгляд был, наверное, настолько выразительный, что Юрий Давыдович понял и без слов.

— Все, что нам нужно, в доме есть. Вставайте!

Дальше все было отрывчато. Мы сидели в домашнем кабинете Юрия Давыдовича. Удивительно, но мы ни о чем не разговаривали. Я молча пил. Он также молча что-то читал. Он только предупредил меня, что уйдет рано, что в доме есть все необходимое, чтобы поесть и выпить, что он запрет меня и придет поздно-поздно ночью.

Помню, я просыпался только для того, чтобы выпить очередной стакан коньяка.

...А дальше вам известно, Александр Шалвович. На следующую ночь я оказался здесь, в больнице. Как сумел это сделать Юрий Давыдович, вам лучше знать.

\* \* \*

...Мы долго молчали, сидя друг против друга. Профессор рисовал чертикив в своем блокноте, о чем-то думал и только изредка бросал на меня сердитые и вместе с тем какие-то любопытные взгляды. Мне казалось, что он дает мне время отдохнуть. Нутром я чувствовал, что он готовит какой-то каверзный вопрос. Но я уже устал, не хотел ни

о чем больше рассказывать. Я ждал приговора и поэтому, опередив профессора, спросил прямо в лоб:

— Я рассказал все честно и до конца. Вы видели, порой мне было нелегко. Но я был честен и не утаил ничего. Теперь хочу спросить я. И прошу вас ответить так же честно. Излечим ли алкоголизм в той стадии, в какой он у меня?

— Прямо и откровенно: нет!

— Так зачем же вы тогда таких, как я, лечите?

— Для того, чтобы вылечить!

— От чего вылечить? От неизлечимой болезни? И почему такая запутанность и обман? Ведь я сам видел плакаты, выпущенные Министерством здравоохранения. На них огромными буквами через весь плакат: «Алкоголизм излечим!..»

— Правильные плакаты.

— Ничего не пойму.

— Поймете, если внимательно слушаете. И не только поймете, но и согласитесь.

Александр Шалвович пододвинул мне сигареты поближе, щелкнул зажигалкой, с наслаждением закурил сам.

— Что же, давайте уж откровенность за откровенность. Я слушал вас очень внимательно. Я вспомнил себя... Когда-нибудь мы поговорим на эту тему подробнее, а сейчас поверьте мне на слово, что было время, когда я пил почти так же, как и вы...

Меня покорило. Очень уж неприятно было слышать такие слова от профессора. Я хотел было возразить, но, заметив мое движение, Александр Шалвович резко меня остановил:

— Помолчите! Вы хотите сказать, что не умно. Дешевый трюк. Согласен. Но прошу вас подумать: кто вы такой, чтобы я ради вас шел на какую-то гнусную ложь, прибегал к дешевым приемам, дискредитируя самого себя?.. Вот то-то! Думаю, у вас хватит ума понять, что я с вами не шучу, а веду такой откровенный и доверительный разговор, как вы со мной. И еще добавлю: не каждому признаюсь. И сделал это не случайно. Не проговорился. Я верю вам. Верю!

А мне на ум пришли разговорчики, ходившие об этом старике у нас в курилке.

Старые пациенты не раз говорили, что так тонко знать психологию пьющего человека, как знал ее Александр Шалвович, мог только...

Возникали догадки. Высказывались предположения, но всегда кто-нибудь кончал такие разговоры мыслью о том, что врач-психиатр и пьющий человек — понятия несовместимые, что просто он настоящий, высокой марки специалист, полностью познавший свой «объект».

Да и смешно было думать, что лечить от болезни может только тот, кто сам переболел этим недугом. Это было бы по крайней мере

несерьезно. И все-таки непонятна была такая откровенность с его стороны.

— Вы сначала послушайте,— прервал мои мысли Александр Шалвович.— Время подумать и осмыслить у вас будет. Я сейчас не буду начинать с азов, говорить о начале болезни. Все это вам известно по своему опыту. Итак, берем уже сформировавшегося хронического алкоголика — медицина считает хроником того, кто уже не может не опохмелиться после выпивки. Излечим ли алкоголизм в этой стадии? Я говорю — нет! И я говорю — да! И более того, вы излечитесь от алкоголизма только в том случае, если твердо и навсегда поймете, что алкоголизм неизлечим!

— Парадокс! — вырвалось у меня.

— Возможно,— спокойно парировал профессор.— Но благодаря этому парадоксу в жизнь возвратилась не одна сотня и не одна тысяча людей. И один из них перед вами. Не перебивайте. Я продолжаю свою мысль.

Давайте с вами сразу решим, что алкоголизм — болезнь особая. И если грипп, туберкулез, скарлатина, проказа и рожа, чума и холера — можно назвать еще сотни таких болезней — попадают в организм неожиданно, с инфекциями, вирусами и бактериями, то алкоголизм прививается человеку только по его личному желанию.

Да, самым больным, путем систематического отравления организма алкогольными ядами. И в первую очередь мозга. Поэтому мы и называем алкоголизм болезнью психики.

— Но почему в таком случае одни пьют всю жизнь и не становятся хроническими алкоголиками? Всегда находят силы где-то остановиться. И не пропивают ни свой мозг, ни свою психику. И не прогуливают. И пиджаков и часов с себя не снимают. Другие же становятся алкоголиками очень скоро.

— Совершенно верно. Именно об этом я и говорю. Вы лишь подтвердили мою мысль. А происходит это потому, что одних болезнь поражает быстро. Других медленнее. Третьи сопротивляются очень и очень долго. И это закономерно.

Я не буду сейчас глубоко вдаваться в медицинскую специфику. Расскажу проще, чтобы вам было понятнее. Вы, конечно, знаете, что такое предрасположенность к той или иной болезни?

— Представляю.

— Надеюсь. И все же поясню. Хотя бы такой пример. Долгое время живут вместе муж и жена. Один из них болен туберкулезом. Другой же, находясь в очень близком общении с больным, не заболевает.

А случайно зашедший в эту семью молодой здоровый человек может унести отсюда в своих легких палочку Коха.

Я знаю людей, которые не выпускают трубку или сигарету изо рта

и доживают до преклонного возраста. А мой родной сын умер в двадцать восемь лет от рака горла, вызванного никотином.

Алкоголизм поражает в первую очередь психику тех людей, которые предрасположены к этому заболеванию. И степень поражения психики совсем не однозначна в разных степенях болезни. Бытует у нас такая пословица: «Пьяный проспится, дурак — никогда!»

— Любимая пословица у нас, пьющих, — не удержался я.

— Понятно. Используется как оправдательная сентенция. И напрасно. Ведь эта пословица больше служит обвинением, чем оправданием пьянства.

— Это почему же?

— А вот почему. Пьяный проспится. Это верно. Пройдет шесть—восемь часов сна, и нормальный пьяный становится трезвым.

Но алкоголик-то за это время не проспался. Он спит и десять и двенадцать часов, но не становится трезвым. Он открывает глаза больным, трясущимся, не находящим себе места. Мечется, злится, нервничает — ищет похмелку. Снова напивается и снова ищет похмелку.

Так к кому же такой алкоголик ближе — к пьяному, который проспался и давно уже работает нормальным человеком, или к дураку? Пока такой выпивоха еще на перепутье между этими двумя понятиями.

Ведь для того, чтобы алкоголику проспать, сначала требовалось два-три дня, потом две-три недели, потом два-три месяца... Растягивается цикл этого «проспания», который мы называем запоями. Вы понимаете меня?

— Да, очень хорошо.

— Еще бы! Вы ведь сами говорили об этом же, только другими словами. Не обижайтесь, но уж коли мы упомянули эту пословицу и вы спрашиваете, почему, я объясню и дальше.

Это ведь вы рассказывали о том, что после окончания работ в командировке вам давали несколько дней компенсации для отдыха, сборов, знакомства с городом. Ваши друзья ходили в театры, изучали достопримечательности, приобретали подарки родным и близким. А вы начинали пить и вваливались в запой.

— Это было так.

— Вас не интересовало уже ничего из того, что окружало вас. Ваши интересы сузились настолько, что они вращались только вокруг бутылки.

— Верно.

— Не обижайтесь. Но ведь это явное начало деградации личности. И она усугубилась. Вы говорили, что у вас уже не было никаких общих интересов с вашей семьей. Избегали вы пойти с женой и сыном в кино. А когда вас приглашали в театр, вы отмахивались. Одна мысль была у вас — «сгладить по маленькой».

— Верно.

— Но ведь верно и то, что вы в такие минуты бывали трезвым. Значит, пришла уже новая фаза болезни. И вы были уже не в силах «проспаться» до состояния нормального человека. Вы и в трезвом-то виде вели себя уже далеко не нормально.

— Значит, я уже не просплюсь никогда? — ухмыльнулся я.

— Это в зависимости от того, будете ли вы пить дальше. Но рано или поздно у пьющего человека наступает и конечная фаза. Если не тюремная решетка и смерть, то идиотизм! Попросту говоря, такой человек становится слабоумным дурачком. Мозг ослабевает настолько и перерождается уже в такой степени, что больной не помнит прочитанную сейчас фразу, что только что он ел, как зовут его приятеля.

Страшно и другое: такой больной теряет одно из главных человеческих качеств — цель действия.

— Я не слишком понял, Александр Шалвович. Что он еще теряет?

— Великий мудрец говорил, что человека от животного отличает цель действия. Если человек действует с какой-то осмысленной, определенной целью, то животное действует инстинктивно, рефлекторно, подсознательно.

— Иначе говоря, алкоголик превращается в животное?

— Я говорю о том, Николай Демьянович, что у алкоголиков зачастую над здравым человеческим разумом начинают преобладать животные инстинкты.

Мы, врачи, тоже подчас бываем не правы, когда мы говорим со всей жесткой откровенностью о той силе разрушения всего организма, которую наносит алкоголь. Больше гладим по головке да уговариваем: водка — бяка. И обвинят меня еще в негуманности и в нарушении врачебной этики, если я прямо скажу, что с круга спившийся субъект обладает очень малым из того, что включается в понятие Человек...

— Я бы вас обвинил в том, что вы не оставляете ни одного шанса на надежду, на спасение.

— Если вы думаете так, то вы либо глупее, чем я предполагал, и мне остается только пожалеть о своей откровенности, либо ваша болезнь зашла дальше, чем мне это показалось вначале.

Но не ваши ли были слова, когда вы рассказывали о сборах к больной матери? Приготовив все необходимое, вы шли выпить стаканчик.

Зачем? Какова в вашем действии была человеческая цель? Чтобы, напившись, привести к себе первого попавшегося проходимца мужского и женского рода?

Зачем? Чтобы пропить с этими проходимцами все, что вы собрали больной матери и заставить ее смотреть тоскующими глазами на дверь в день посещений?

Где же в этом человеческая логика и человеческий смысл?

Если бы это с вами случилось однажды и впервые, можно было бы такой случай отнести к ошибке. Но ведь на следующий день вы выключивали деньги именем матери у знакомых и начинали все сначала?

Вы говорили мне это для чего? Чтобы облегчить свою душу и поискать сочувствия? И вам сейчас явно неприятно, когда вашим поступкам дают точную квалификацию. Нет, милый мой, одно признание вины не снимает!

И потом о какой надежде и о каком шансе на спасение говорите вы, который десять минут назад доказывал здесь, что для алкоголика путь только один — решетка или смерть! Ваши это слова?

...Я молчал, не зная, что ответить. Профессор гневной глыбой поднялся надо мной, и откуда-то сверху прогремели его слова:

— Раскаяться мало. Надо исправить все, что еще можно!

— Но как? Ведь ОН неизлечим!..

— Да, неизлечим, — как эхо подхватил профессор. — Но не думаете ли вы, что излечим туберкулез, если в такой же стадии запущенности больной начнет греться на жарком солнце, купаться по ночам в студеной воде, ходить по росным туманам за грибами и бегать кроссы по пересеченной местности? Ведь вы понимаете, что такой человек погибнет.

— Конечно, погибнет!

— Погибнет и просто больной обычным гриппом, если он во время болезни будет с «моржами» купаться в ледяной воде, пить студеное пиво после парной. Верно?

— Верно.

— Ну, слава богу. Хоть это вы понимаете! А представьте себе большого язвенной болезнью! Давайте предложим ему острый рацион с утра до вечера. Утром селедку. Днем — харчо и шашлык под острым соусом. Вечером маринад на крепком уксусе. Это же смерть!

— Понятно!

— А почему же вам не понятно, что алкоголику, человеку, больному психическим расстройством, совершенно нельзя прикасаться к спиртному? А вы пьете с утра до вечера и, делая невинные глаза, спрашиваете: «Излечим ли алкоголизм?..»

Нет! Неизлечим! Я отвечаю вам прямо в глаза.

Профессор нервно прошелся по кабинету. Дошел до стены, ринулся было обратно на меня, но на полдороге остановился, как бы наткнувшись на какое-то препятствие, и уже другим голосом через мгновение мягко сказал:

— Вот что: надо немного успокоиться. Мы начинаем злиться, а древние греки говорили, что злость — плохой помощник разуму. Давайте же успокоимся и продолжим.

Можно сейчас вылечить туберкулез. И переболевший гриппом снова станет «моржом». И язва ныне излечима. А алкоголизм — нет.

Но если неизлечим ваш алкоголизм, то излечима пока ваша психика. Вы сколько времени уже здесь, в больнице?

— Около трех месяцев.

— И все три месяца с утра до вечера лечили вашу психику. Всеми средствами, имеющимися в распоряжении современной медицины.

Всеми силами восстанавливали ваш разум. И сейчас я обращаюсь к нему, к вашему разуму. К самому ценному в человеке, великому дару природы, единственному качеству, коим отличаемся мы, люди, от всех других живых обитателей нашей планеты.

Мы начинаем с вами жить заново, Николай Демьянович. Я хочу, чтобы ваш разум точно определил, что вы можете делать и что нет.

А делать вы можете все. Вас природа наградила великолепными качествами, вам общество предоставило огромные возможности развить природные данные. Вы действительно счастливы, как редко кто другой.

Оглянитесь вокруг себя, Николай Демьянович! Оглянитесь и посмотрите, сколько людей лишены того, чем обладаете вы. Лишены в силу беды или несчастья, болезни или природных данных, наконец, в силу сложившихся обстоятельств.

Вы же здоровы и сильны. Вы умны и образованны. Вы, наконец, хорошо сложены и недурны собой.

У вас есть все. Вы можете брать от жизни очень многое. И столько же много дать ей. Вы можете все. И не можете только одного — пить.

Так сложите же все, что вы можете, — а это все вместе и называется полной и яркой жизнью, — и положите на чашу весов, где на другой стоит бутылка водки.

Что же перетянет в вашем разуме человеческом? Я разум ваш спрашиваю. Я обращаюсь к нему!

Вы испугались, что алкоголизм неизлечим. Да черт с ним! Пусть он будет трижды неизлечим! Вам-то какое до этого дело?

Вы должны знать другое. Он неизлечим, но победим!

Скажете опять — парадокс! Может быть, и так. Может быть, в этом весь страх, ужас и коварство этой болезни, что она парадоксальна в своей сути.

Она действительно парадоксальна, это одна из самых страшных и коварных болезней в мире.

Она страшна тем, что ее приносит не вирус, не инфекция, не бактерия. Если бы было так, медицина давно нашла бы способы бороться с этими паразитами. И было бы, вероятно, проще.

Она страшна тем, что ее сам себе прививает человек. И прививает долго, умышленно и настойчиво.

Она коварна тем, что, заболев ею один раз, человек остается болен ею пожизненно. И сколько бы лет он ни воздерживался от выпивки — год, пять, двадцать, — стоит ему выпить, как самые страшные симптомы этой болезни: жажда водки, запой, бесконтрольность поступков, проявление слабоумия — все мгновенно возвращается с прежней силой.

В этом страх и коварство болезни.

Но, несмотря на ее страх и коварство, она бессильна. Да, эта болезнь совершенно бессильна перед человеческим разумом. И если человек бросает пить — он побеждает болезнь. И алкоголизм, если ты его победил, никогда не вернется, пока ты сам не позовешь его!

Если помимо воли человека к нему вновь может вернуться и туберкулез, и грипп, и холера, то алкоголизм никогда не вернется сам, если ты его не позовешь!

Сам привив себе эту болезнь, человек сам от нее может и отказаться. Медицина может помочь ему во многом. Но, к сожалению, она бессильна поставить какой-то барьер в горле человека, чтобы через него проходила пища, но не проходила водка.

Человек этот барьер должен поставить сам. И ставится он безболезненно и без всякой операции. Одним разумом.

Поэтому я не могу спокойно перенести вопрос пьющего и продолжающего пить: «Излечим ли алкоголизм?»

Вы, алкоголики, кричите: помогите нам! Дайте нам таблетку! Вроде бы как аспириновую.

Мы даем вам таблетку, после которой пить нельзя: антабус. Вводим в вену, как вы называете, «торпеду». И берем с вас подписку о том, что вы предупреждены, что после этих лекарств, если человек выпивает, наступает быстрое и интенсивное выделение синильной кислоты, что человека практически спасти нельзя. Знаете вы об этом?

— Конечно, знаю.

— Видели вы привезенных сюда, выпивших, несмотря на предупреждение, и умерших уже здесь, в отделении, так как мы их не сумели откачать? Умерших в страшных синюшных корчах...

— Видел.

— Значит, таблетки наши действенны и эффективны? А что делаете вы, алкоголики? Приняв «торпеду», некоторые из вас в первый же день по выходе из больницы выпивают глоток пива. Только один глоток, чтобы синильная кислота его не задушила.

А на завтра еще один глоток. Только один. И послезавтра — тоже только один. И так целую неделю. А потом и стакан пива. А на вторую неделю — кружку. А на третью — сто граммов водки.

Таким образом вы искусственно выбрасываете из организма вводимый вам антиалкогольный яд, чтобы снова начать пить.



А ввалившись в очередной запой, который абсолютно неминуем, вы, подняв невинные глаза, спрашиваете у врачей: «Алкоголизм излечим?»

Как это назвать? Нет, милый мой, ОН неизлечим до последнего дня вашей жизни. Ни-ког-да!

Профессор говорил, а я ушел куда-то в свои мысли и думал о том, что все люди, заболевшие какой-либо болезнью, бегут к врачу и верят ему: будь то туберкулез, язва или печеночная болезнь. Ложатся в специальные клиники, соблюдают диету, переходят на строгий режим, аккуратно принимают прописанные лекарства, доставая их подчас с невероятным трудом и переплачивая за них втридорога.

А мы стоим на своем:

— Какой же я алкоголик, если домой приношу ползарплаты?

— А я и вообще совершил только два прогула по два дня.

— А я еще никогда из дома ничего не воровал и не пропивал...

...Мнимые голоса из «курилки» доносились сейчас до меня громче, чем голос профессора...

— Нет, мы не алкоголики! — твердили там хором. — Мы так — пьющие-выпивающие. Мы...

— Вы меня слышите? — вернул меня к действительности голос профессора.

— Да, да, конечно.

— Беда в том, что алкоголик не хочет признать себя алкоголиком.

А до тех пор, пока он этого не признает, он неизлечим.

Так что плакаты, о которых вы говорите, — правы. Алкоголизм излечим! Только в том случае, если его хочет излечить больной. И никогда он от него не излечится, если после многомесячного нахождения в больнице он в первый же день опрокинет в себя бутылку «бормотухи».

— Но бывает так, что человек не пьет год, два, пять, а потом срывается?

— Зачем?

— Что зачем? — не понял я.

— Зачем он срывается? — я говорю. Ведь это лишний раз подтверждает то, о чем я только что говорил: если он безболезненно жил, не притрагиваясь к рюмке пять лет, то зачем же ему начинать?

Он ведь знает, что все пойдет по известному ему пути: пропьет деньги, прогуляет работу, будет уволен. Потом пропьет плац, потом начнет воровать из дома. Это он все прекрасно понимает перед тем, как «сорваться». Ведь не с горы же он сорвался, неожиданно оступившись. А умышленно и хладнокровно, в трезвом и ясном состоянии начал свой очередной запой. Запомните: срываются в пропасть с горы. В алкоголизм сходят по ступенькам.

...В конце четвертого месяца моего пребывания в лечебном отделении, днем, когда я был на работе (сколачивал ящики), ко мне подошел дежурный и сказал, что меня просят зайти в отделение, — там меня ждет посетитель.

Я отмахнулся, как от неуместной шутки. Во-первых, был не день посещения. А во-вторых, никто ко мне прийти не мог. Ни один человек не знал, где я нахожусь, да и не было у меня такого человека, который хотел бы заглянуть ко мне.

Однако через десять минут посыльный вернулся и сказал, чтобы я немедленно по распоряжению Александра Шалвовича явился в его кабинет. Были у нас случаи, когда вот таким неожиданным образом в отделении появлялись представители милиции и одного из нас уводили в следственный изолятор.

За мной никаких грехов вроде не числилось, но шел я на встречу с этим «посетителем» в большой тревоге.

Есть такое не очень красивое, но емкое русское слово — обалдеть. Со стула встал и протянул мне руку такой же робкий и застенчивый, как и прежде, мой бывший шеф по научно-исследовательскому институту — Юрий Давыдович, тот самый, который подобрал меня в начале белой горячки в парке культуры.

— Это я, — как-то неловко переминаясь с ноги на ногу, сказал он. — Вот... Пришел.

— А это я, — не найдя ничего другого, откликнулся я. — Тоже вот пришел.

Помолчали. Я просто не знал, о чем говорить, с чего начать.

— Я вот тут кое-что принес вам, — выталкивая ногой из-под стола чемодан, которого я раньше не заметил, начал Юрий Давыдович. — Здесь все, что нужно мужчине для первого раза, чтобы одеться... Белье, рубашка, носки, костюм... Костюм, скажу вам, хороший, — неожиданно похвалился шеф, — а пальтишко так себе, демисезонное. Шапку не достал. Кепка там лежит. Но выйдете отсюда как положено. Не хуже других.

Алкоголики плачут часто. Истерично. Слюняво. Я плакал, как мой отец перед уходом на фронт. Тяжело и горько. Не я плакал. Душа плакала.

— А чего это вы, собственно говоря, расстраиваетесь? — донесся до меня голос Юрия Давыдовича. — Я не меценат и не благодетель. Все это я вам даю взаймы. Там и бирочки с ценой на каждой вещи приклеены. Заработаете — отдадите. Все вам подойдет впору. Я размеры вашей фигуры знаю, ведь мы с Александром Шалвовичем скоро уже тридцать лет как знакомы.

— Значит, вы давно знали, что я здесь?

— Знал? Что значит знал, если я вас сюда и «упек».

За линзами с сильной диоптрией чуть хитровато поблескивали глаза.

— Ну, так пришли бы хоть раз. Знаете, здесь одному-то...  
— А вот и не велел. Я хотел было. Но запретил наглухо.  
— Александр Шалвович?  
— Он самый. Пусть, говорит, в своем собственном алкогольном соку поварится. Скорее он из него испарится. Под давлением-то.  
— Долго вам придется ждать, пока я расплачусь с вами.  
— А я в суд подам, если долги платить не будете. Наложим арест на зарплату.

— Откуда у меня зарплата? Ее еще искать да искать.  
— Э, нет! У нас это так не делается. Если даем займы, то под определенное обеспечение,— совсем расплылся в улыбке Юрий Давыдович.— Со следующей недели и зарплату получать будете. Пригладел я вам одну работенку. Не очень доходная, но жить можно.

— Это что же? Это где же?

— А все там же. В моем отделе. На старой должности. Начнете сначала. Это уже на себя пеняйте. Поручился головой перед директором института. А Александр Шалвович поручился официально: на бланке с печатью. Есть и еще один поручитель...

Так вот было в тот памятный на всю мою жизнь день.

А еще через некоторое время за мной мягко и неслышно, автоматически, как в метро, закрылись двери тюрьмы.

Встречали меня двое: Юрий Давыдович с машиной и... Аня с огромным букетом цветов.

— А вот и ваш третий поручитель,— сглаживая неловкость, начал было шеф. Но я оборвал его жестко:

— А вот в третьем-то я и не нуждаюсь. И видеть не хочу.

— Зато я хочу,— совсем не обиделась Аня.— Садись поскорее. Видишь, я совсем замерзла.

Только тогда я заметил, что она в одних туфельках, в тонких чулках. Шубка запахнулась, мелькнула цепочка на шее в широком отверстии белой кофточки. Аня была, как мы говорили, «при наряде».

— К Николаю Демьяновичу мы поедем,— как хозяйка, обратилась она к Юрию Давыдовичу.— На Люсиновскую.

Наверное, у каждого в судьбе бывают моменты настолько неожиданные, что кажется ему, будто происходит все это во сне. Ведь жизнь такая мастерица закручивать необыкновенные сюжеты, такие головоломки, что не решить сразу, не отгадать. Станным мне казалось поведение Анюты, но не знал я в тот день очень и очень многого, не знал, что судьба ее ломалась круче, чем моя, и с более тяжкими последствиями. Мы, мужчины, говорим, что у женщины своя логика. Особая. А она и есть особая. Не давала Аня покоя последняя наша встреча, там, у «чертова колеса» в парке культуры. И не жалость ко мне, не обида сказанного, а вот сам непонятный смысл моего крика: «Предатели. Подлецы. Воры». «...Почему воры?» — будил ее по ночам

вопрос. И днем, зачастую в самой будничной обстановке, вдруг как наяву слышала она мои слова: «Будьте вы прокляты оба. Предатели. Воры...»

Она любила меня раньше, знала хорошо и понимала, что в своем состоянии мог и ругнуться некрасиво, может, даже и ударить. Но при чем здесь воровство?! И почему это слово относится к ним обоим сразу — к ней и к Виктору: «ВОРЫ»?

Эта мысль привязалась к ней, стала преследовать. И с чисто женской логикой она решила выяснить причину, почему я так их назвал. Может, сначала и просто из бабьего любопытства. Но потом все тревожнее становилось у нее на душе. Ведь она знала, что я раньше Виктора начал заниматься сваркой трением. Знала, что и его диссертация посвящена этой теме.

Шли дни, складывались в недели. А мысли все больше завязывались в тугую узел: «Воры, воры, воры!»

Она решила разыскать меня, вернуться к этому разговору. Адрес москвича узнать в справочной нетрудно. И однажды она появилась в нашей коммуналке, где была моя комнатуха. Встретила ее Ольга Степановна, старушка-пенсионерка, единственный человек, не ненавидевший меня там. Это она в мои совсем голодные и запойные дни приносила мне тарелку бульона, приготовленного из супового набора, да кружку сладкого кипятку.

Женщины разговорились. Комната моя испокон веку не запиралась, и там среди свернутых и брошенных запыленных чертежей, среди моих набросков, записей и расчетов просидели они до полуночи.

Узнала Анята и о Викторе, о его подачках мне. И о нашей работе. И поняла: я считал ее вдохновительницей этой идеи, хозяйкой провиантского снабжения, которое принесил Виктор в мой дом. И поняла, почему — «Воры, воры, воры!»

А на следующий день послала Виктору телеграмму: «Не приезжай».

Обо всем этом я не знал, сидя в машине Юрия Давыдовича, сторонясь и Аняты, и ее букета.

Не знал я, что она разведенная и свободная женщина. Не знал и более важного и страшного, что она уже не мать, а я не отец нашего сына Володи. Он умер два года назад в интернате для детей-идиотов. Пока я пил, трагедия раскручивалась с необыкновенной быстротой. Ведь я помнил его двухлетним, веселым, любознательным и сообразительным малышом. А в три года к нему, безвинному, вернулся бумеранг моего пьянства и поразил его неизлечимо. Он стал умственно деградировать с такой скоростью, что уже к четырем годам его забрали в интернат для дебилов. И физически болезнь его уродовала жесточайше.

Умерли родители Анюты. Она металась одна в надежде как-то облегчить страдания сына, пока ей откровенно не сказали:

— Алкогольно-генетическая деградация. Неизлечима. Видимо, ваш супруг, а может быть, и вы были нетрезвы в момент зачатия ребенка.

Да, мы были нетрезвы в тот самый первый вечер, когда моя мать, премированная бесплатной путевкой в день выхода на пенсию, оставила нас одних.

Мы были молоды, мы любили друг друга и решили в тот вечер устроить нашу помолвку. Что вспоминать? У всех бывает первая брачная ночь. Была она и у нас. Я сильно опьянел тогда и все уговаривал Анюту выпить со мной еще и еще раз: и за нас, и за наше будущее счастье, и за нашего первенца...

Это теперь я знаю, что водка — самый точный в мире снайпер. Что она бьет без промаха. И если супруги в момент зачатия ребенка пьяны, то попадание сто из ста. Может, не сразу от рождения, может потом, со временем, но бумеранг родительского пьянства вернется к ребенку и поразит его.

Это теперь я знаю, почему по старой нашей русской традиции на свадьбах разрешалось пить всем, кроме молодоженов. Чтобы не зачали они уroda-инвалида в свою первую брачную ночь.

Если бы знали мы это в старших классах, когда изучали анатомию человека — пусть в девятом или десятом, — сколько судеб не было бы изуродовано, сколько детей не родилось бы дебилами!

...После посещения моей квартиры Анята искала меня. И в больницах, и в моргах. И на стройке, где я когда-то работал, и в той организации, которая так часто посылала меня в командировки. И наконец решила позвонить Юрию Давыдовичу, спросить — может, знает кто обо мне из бывших моих однокашников по институту. Так вот они и встретились за два месяца до моей выписки из больницы. Но Александр Шалвович наложил строгое «вето» — меня никто не должен был посещать.

Всего этого я не знал тогда, когда машина Юрия Давыдовича довезла нас до моего дома.

— Пойдем домой, — взяла меня крепко под руку Анята. — Пойдем. Так нужно. Так велел Александр Шалвович!..

## ОТ АВТОРА:

— Как я живу сейчас? На этот вопрос однозначно не ответить. Я давно «остепенился» — имею в виду научные и должностные звания. Руководжу большим отделом. Все здесь знают, что я лечился в свое время от алкоголизма, да я и сам не скрываю этого. И сбылись слова Александра Шалвовича, когда он пророчествовал: «Будут еще

о тебе говорить, что «волевой ты мужик», «стальной у тебя характер», что «сильная ты личность».

Все это я слышал не раз. И не раз вспоминал слова старого профессора: «Люди — существа разумные. Вспоминают прошлое, но больше чтут настоящее».

А настоящее мое — это работа, дом, семья. Анюта родила мне еще двоих — старшего мы назвали в честь первого сына, Володей. Ему сейчас скоро восемнадцать. Дочери Юле — 14 лет.

И настоящее мое — это еще и твердая уверенность в том, что я хронический алкоголик. Пожизненно.

И поэтому нет-нет да и доставал я, особенно в первые годы после больницы, магнитофонную запись нашей последней беседы с Александром Шалвовичем, которую он подарил мне на прощание и где впервые говорил со мной на «ты». «Как с другом», — объяснил он.

«...Вот мы и расстаемся, — звучал тогда его голос, — вылечил ли я тебя от алкоголизма? Конечно, нет. Но я тебя поставил в положение человека, который может уйти от него».

У каждого врача своя метода. Есть, наверное, и другие. Может быть, и более действенные. Но моя заключается в том, чтобы не только вернуть пьющему человеку разум, но и заставить работать этот разум против алкоголя.

Я повторяю вновь и вновь: от алкоголизма можно спастись. Но не надо только вступать в единоборство с водкой. Надо твердо запомнить, что даже самые сильные личности нашей планеты из тех, кто вступил в такое единоборство, погибали. Еще ни один человек не победил и не победит никогда.

Не забывай слова Джека Лондона, когда он говорил, что водка имеет одну страшную особенность — она вызывает жажду. Чем больше пьешь, тем больше хочется.

Но я тебе скажу еще один парадокс: водка самый гуманный из всех противников мира. Сдайся ей. Признай, что сильнее тебя. Уйди с поля боя побежденным. Победенным во имя победы. Во имя жизни.

Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда, что алкоголизм сидит в тебе навечно, как страшная мина замедленного действия. Есть такое огромной силы взрывчатое вещество — тол. Если взрывается толовая шашка, то она уродует металл и кромсает бетон, в пыль разбивает гранит и сила ее взрыва плавит самые твердые алмазы.

Это в том случае, если она взрывается. А для взрыва ей нужен особый детонатор.

Если же нет этого детонатора, то толовая шашка абсолютно безобидна. Ее можно бросать и разбивать в пыль, ею можно разжигать костер и опускать в воду.

Вот так и твой алкоголизм. Живи с ним сто лет. Бегай и прыгай с ним, не боясь сотрясений. Гори в самом жарком огне любви, подни-

майся на самые высокие творческие вершины и спускайся на самое глубокое дно твоих инженерных изысканий.

Алкоголизм безопасен. До тех пор, пока ты не поднесешь к нему детонатор — рюмку спиртного. Если же это произойдет, он как толовая мина — разорвет и изуродует все.

Знай и помни, что сам по себе пистолет — железка безобидная. Чтобы он выстрелил, его надо зарядить, взвести курок и нажать гашетку. И не забывай, что каждая налитая тобой рюмка — это взведенный курок. Каждый глоток — это выстрел\*.

...Шесть лет тому назад умер Александр Шалвович. Я ни разу не видел столько народу на похоронах. На кладбище нас было около тысячи. На лацкане пиджака у очень и очень многих был приколот маленький значок — небольшой квадратик абсолютно черного цвета, на котором яркими белыми буквами написано только одно слово: «НИКОГДА».

Александр Шалвович сам выдумал этот значок, сам где-то заказал его и вручал при выписке самым, по его мнению, надежным. Получил его и я. Тогда, в больнице, наши новички шутили: «Мы еще алкоголики, вы уже никогдатики».

У нас не было общества трезвости. Но каждый год те, кто получил из его рук этот значок, приезжали в Измайловский парк 15 апреля — в день рождения профессора. И чтобы показаться ему, и чтобы поздравить его. Этот значок как бы роднил нас.

Так как же я живу теперь? С тех пор я не наливаю рюмку. Я не хочу взводить курок. Я не выпил ни глотка спиртного: ни водки, ни вина, ни пива. Я уверен, что каждый глоток — это выстрел. Первый — в Анюту, второй — в Володю, третий — в Юлию.

Я не подношу детонатор к той страшной мине, которая навечно сидит во мне. Ибо твердо уверен, что, если поднесу, она взорвется немедленно. Изуродует все и безжалостно сбросит меня в пропасть без дна.

Но я и не боюсь водки. Она не тянет меня и не зовет. Она забыла про меня, так же как и я забыл про нее. Она не нужна мне, так как и я совсем не нужен ей.

Мы ходим с Анютой и на дни рождения, и на встречу Нового года, и принимаем гостей у себя.

Однако я не забываю, что водка сильнее меня. Что я ушел с поля боя побежденным. Побежденным, чтобы быть победителем.

Вот так я и живу. С глубокой болью перед первым сыном.

**В СЕРИИ  
БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
В 1986 ГОДУ  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

1. А. СИИГ. «Если бы снова...» *Стихи. Перевод с эстонского.*
2. А. ХВАТОВ. Творческие заветы Шолохова. *Очерки.*
3. И. НИКОЛЮКИН. Птицы в груди. *Стихи.*
4. Д. ИВАНОВ. Пожары в Сосновке. *Статьи.*
5. И. БОЧАРОВ, Ю. ГЛУШАКОВА. Орест Кипренский. *Из итальянских разысканий.*
6. Д. ЛИХАЧЕВ. Память истории священна.
7. В. СИДОРОВ. Устремление. *Стихи.*
8. В. СОЛОУХИН. Прийти и поклониться.
9. А. ОВЧАРЕНКО. Живой Горький.
10. А. АДЕИШВИЛИ. Директор занят. *Юмористические рассказы. Перевод с грузинского.*
11. С. РЫБАС. Спасение. *Рассказы.*
12. П. ГРАДОВ. Доброта. *Стихи.*



13. В. РАСПУТИН. **Пожар.** *Повесть.*
14. И. ЗОЛОТУССКИЙ. Гоголь, Лермонтов, Жуковский. *Статьи.*
15. А. МЕНЬКОВ. **В пору зрелости табака.** *Рассказы.*
16. Д. БРУДНЫЙ. **С чего начинается театр.** *Рассказы.*
17. В. ОСИПОВ. **Открытый урок.**
18. Б. КУЛИКОВ. **Здравствуйте, мои стихи!**
19. А. СААКЯНЦ. **Тайный жар.** *Очерки о Марине Цветаевой.*
20. Е. ЕВТИМОВ. **Наш болгарский род.** *Стихи. Перевод с болгарского.*
21. В. ВИКТОРОВ. **Строка в блокноте.** *Очерки.*
22. В. КОРНИЛОВ. **Пропущенные зори.** *Рассказы.*
23. М. ГОРБУНОВ. **Страницы любви.**

**Нил Павлович ПАВЛОВ**

**ВЕРНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ**

Редактор О. М. Ш м е л ё в.

Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а.

---

Сдано в набор 11.03.86. Подписано к печати 30.04.86. А 00679. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,95. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 1368. Заказ № 2584. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Если перед Вами стоит задача накопить деньги для приобретения дорогостоящей вещи, путешествия или поездки на курорт, вступления в жилищно-строительный кооператив и др., воспользуйтесь услугами сберегательных касс.

● Сберегательные кассы принимают от населения вклады различных видов: до востребования, условные, на текущие счета, срочные, срочные с дополнительными взносами, молодежные премиальные, выигрышные, денежно-вещевые выигрышные. Вкладчикам предоставляется возможность выбрать ту форму хранения сбережений, какую они сочтут для себя наиболее удобной.

● Сберегательные кассы выплачивают вкладчикам доход по вкладам от 2% до 3,5% годовых, а также в виде выигрышей — наличными деньгами или товарами из расчета 2% годовых, в зависимости от вида вклада и срока их хранения.

● Сохранность денежных средств, тайна вкладов и выдача их по первому требованию вкладчиков гарантируются государством.

● **Вы можете:**  
полнить свой вклад, не посещая сберегательной кассы. Для этого необходимо подать в бухгалтерию (расчетную часть) предприятия, учреждения, организации, совхоза, колхоза по месту работы заявление о перечислении части своих доходов в сберегательную кассу для зачисления на счет по вкладу;

перевести вклад (полностью или частично) или наличные деньги на счет по вкладу в другую сберегательную кассу;  
сделать завещательное распоряжение по вкладу;  
выдать доверенность на распоряжение вкладом.

Добро пожаловать в сберегательные кассы!

**Российское республиканское  
главное управление Гострудсберкасс СССР**